

## ОБ АВТОРЕ

Оливию Шрейнер (1855–1920) считают родоначальницей англоязычной художественной литературы Южной Африки. Начиная с 1880-х годов она стала известна далеко за пределами своей родины. Ее произведения многократно издавались в Англии, переводились на немецкий, африкаанс (язык африканеров-буров), французский, голландский, чешский... Она вызывала восхищение столь разных людей, как Честертон, Гладстон, Киплинг, Сесиль Родс, Джордж Мередит. Бернард Шоу был ее другом.

Оливия Шрейнер родилась 24 марта 1855 г. в семье миссионера в местечке Виттеберген («Белые горы») — в глубине Капской колонии, на южном берегу реки Оранжевая. Теперь возле этих мест проходит граница между Южно-Африканской Республикой и королевством Лесото. Ее отец был выходцем из Германии, мать — из Англии. Оливии, как только ей исполнилось семнадцать, пришлось идти гувернанткой на бурскую ферму. Это и стало школой жизни. Там она начала писать. Когда ей было двадцать пять, она закончила «Историю африканской фермы». Послала рукопись в Шотландию, одному из друзей, и в том же году отправилась в Лондон.

С выходом «Африканской фермы» в 1883 г., судьба ее круто изменилась. Роман имел бурный успех, продавался десятками тысяч экземпляров. О нем говорили повсюду, писали в газетах и журналах, переводили. Она стала, как писали лондонские газеты, «львицей сезона».

Прожила в Европе, главным образом в Лондоне, до 1889 г., была в центре общественной и культурной жизни. Круг ее интересов был очень широк. Говорила о поэзии с Оскаром Уальдом, о философии — с Гербертом Спенсером, беседовала с Райдером Хаггардом, с Гладстоном. Сблизилась с социалистическим движением. Встречалась с лидером немецких социалистов Вильгельмом Либкнехтом и английских — Кейром Харди. Хорошо знала семью Карла Маркса, стала подругой младшей дочери — Элеоноры. Во Франции гостила у Лафаргов. В Лондоне стала популярным оратором на митингах борьбы за равноправие женщин. Много лет исследовала положение женщин в Европе и в Африке. Результатом поисков стала книга «Женщина и труд», получившая большой резонанс в Европе.

В 1889 г. Оливия Шрейнер вернулась на родину, в Южную Африку. Следующее десятилетие было для нее плодотворным. Написала две книги рассказов: «Грезы» и «Грезы и действительность». Выходили ее публицистические очерки о разных сторонах южноафриканской жизни. Впоследствии, когда писательницы уже не было в живых, их объединили в книгу «Мысли о Южной Африке». Названия очерков: «Бур», «Проблема рабства», «Странствия бура», «Бурская женщина и современный женский вопрос», «Бур и его республики», «Психология бура», «Англичанин»... Они настолько хорошо продуманны и так ярко написаны, что их можно и сейчас рекомендовать каждому, кто хочет знать Южную Африку и ее историю.

Знакомство российского читателя с Оливией Шрейнер началось в 1893 г. с «Истории африканской фермы». Шел колониальный раздел мира, прежде всего — Африки. Европа делила далекие края земли. О них говорили, писали. Авантюрно-приключенческо-колониальная литература хлынула на книжный рынок. Но настоящей, повседневной жизни там нет. Реальная жизнь — вот что отличало «Африканскую ферму» от большинства тогдашних романов об Африке. И отрадно сейчас прочесть, что когда-то в «Вестнике иностранной литературы» роман хвалили именно за это.

Еще больше внимания привлекла в России повесть Шрейнер «Рядовой Питер Холкит в Машоналенде». Перевели мгновенно: в том же 1897 г., когда она вышла в Лондоне, ее напечатал и «Вестник иностранной литературы», 1897. № 10. А затем повесть многократно издавалась и в журналах: «Домашняя библиотека». 1898. № 10; приложение к «Живописному обозрению». 1898. № 10; «Литературные вечера». 1901. № 1–9 и отдельной книжкой (в Москве в 1900 г., в Петербурге — в 1908-м).

Повесть, несомненно, заслуживает такого внимания. В ту пору «раздела мира», когда общественное мнение Европы считало колониализм явлением естественным и даже благотворным, «Питер Холкит» — пожалуй, первое художественное произведение, в котором преступления колониализма осуждались так беспощадно. Правда, четырем десятилетиями раньше вышел роман голландского писателя Мультиатули «Макс Хавелаар», где тоже резко осуждался колониализм, но там речь шла о более раннем периоде, к тому же роман долгое время был мало известен за пределами Нидерландов. Незадолго до Оливии Шрейнер выступил с критикой колониальных действий в Египте англичанин Уилфред Блант. Но и его произведения не получили тогда широкого отклика. На весь мир прозвучал голос Марка Твена, осудившего действия своей страны в испано-американской войне 1898 г., но это было уже после.

«Питер Холкит» стал первой антиколониальной повестью, которая сразу же получила широкий резонанс. Причин тому было немало. После выхода «Африканской фермы» к голосу Оливии Шрейнер прислушивались во многих странах мира. Да и сама повесть написана была страстно, заставляла верить в подлинность нарисованной картины.

Читатели оценили и мужество автора; ведь Оливия Шрейнер возвысила голос против Сесилия Родса, который был кумиром большей части английского общества. Питер Холкит в повести Оливии Шрейнер — это боец отрядов Родса, завоевавших страну, которая в наши дни известна как Республика Зимбабве. Во время их восстаний в 1896 г. карательные отряды, состоявшие из таких холкитов, взрывали динамитом пещеры, где скрывались жители, и жгли посевы, чтобы голод заставил восставших прекратить борьбу. Первое издание открывалось уникальным обличительным документом — фотографией виселицы с трупами африканцев, казненных волонтерами отрядов Сесилия Родса.

Как воспринималась повесть в России?

«Без всякого преувеличения можно назвать рассказ «Рядовой Питер Холькет» одним из самых сильных произведений европейской литературы за последние годы. Сюжет его прост: к английскому наемному солдату, стоявшему ночью на часах в Южной Африке, приходит Спаситель и воскрешает погибшую душу этого бедного человека, погрязшего в суетных мечтах о наживе. Трудно представить себе всю глубину и устойчивость впечатления, производимого несложными и живыми сценами этого превосходного рассказа; не только по возвышенности идеала, по силе человеколюбия и ясности мировоззрения, но и по величавой простоте повествования в нем есть нечто библейское. Достодолжное освещение получают в нем те темные силы, которые двинули великую защитницу свободы, старую Англию на дурное и ненужное дело... Настоятельно рекомендуем рассказ Оливы Шрейнер нашим читателям. Уроженка Южной Африки, она на месте мрачных событий прониклась теми настроениями, которые дают такую силу ее рассказу» («Журнал для всех». СПб., 1900, июнь. С. 767-768.)

Вот другой отклик:

«Отбившись от отряда рядовой Петр Холькет сидел темною ночью в пустыне около костра, разведенного им на вершине холма, и думал.

Это было в Южной Африке вскоре после набега Джемсона. Он был «не хороший и не дурной человек, как вообще все люди». Он бессознательно жил и делал бессознательные жестокости, какие делали все англичане в Южной Африке, и не считал эти жестокости злом, потому что так делали все. И вот в эту темную ночь, когда он был наедине с самим собой, к его костру подошел человек и стал ему говорить о том, о чем он слышал только в детстве от своей матери. Забытое различие добра и зла воскресло в его душе, и он понял, что этот странник был Христос. У рядового Петра Холькета произошло свое «воскресение», и он, вернувшись в свой отряд, вступился за негра, которого капитан велел расстрелять. В ответ на это капитан назначил его самого палачом негра. Холькет ночью освободил негра и сам был убит. Этот рассказ, напоминающий Льва Толстого и картины Уде, прекрасно написан и производит сильное впечатление». («Русская мысль». М., 1900, август. С. 277.)

Конечно, в пору бурской войны ажиотаж вокруг этой книги имел и нездоровый привкус англофобии. Но сама повесть появилась раньше, была написана еще до войны, не из конъюнктурных соображений, и потому выдержала испытание временем. В России ее издавали и в 1908 г., когда характер англо-русских отношений изменился в лучшую сторону. Да и тогда, на рубеже XIX и XX веков, при очередном всплеске антибританских чувств в русском обществе, в этой повести видели не только осуждение Англии, но и общечеловеческое — призыв к гуманности.

Накануне англо-бурской войны она издала книгу своих размышлений о предгрозовой обстановке на юге Африки, а в годы войны мужественно

выступила против английской политики. Антивоенные статьи и памфлеты Шрейнер собраны посмертно ее мужем в книгу «Мысли о Южной Африке» (1928). Ее протесты против британского вторжения в Трансвааль и Оранжевую Республику были настолько гневными и получили такой отклик в Европе, что, захватив Йоханнесбург, где она тогда жила, английские военные власти, в сущности, держали ее под арестом. Как писали тогда, с Оливией Шрейнер «обращались очень сурово: ей не позволено было видаться с мужем, ее рукописи были сожжены... и часовому отдан был приказ стрелять в нее при первой же попытке к бегству».

Но кончилась война, и через несколько лет вожди бурских землевладельцев нашли общий язык с английским правительством, пошли на сговор с ним за счет африканского населения. Оливии пришлось снова уехать в Англию. В 1906 г. она писала, что «бурский вопрос» интересует ее уже куда меньше, чем раньше. Чем дальше, тем сильнее ее волновала судьба африканцев и других не белых жителей Южной Африки. В своей общественной деятельности она стояла куда ближе к африканцам, чем это считалось естественным и принятым в ее стране. Свои размышления Оливия Шрейнер озаглавила: «Closer Union» — «Более тесный союз» (1908). В этом заглавии — ее основная идея.

*«Я уверена, что попытка строить жизнь нашей страны на различиях по расе или цвету кожи, как таковых, окажется для нас губительной [...] Проблема XX столетия не будет повторением проблемы XIX в. или еще более ранних времен. Рушатся стены, отделявшие континенты друг от друга; повсюду европейцы, азиаты и африканцы будут жить вместе. XXI столетие увидит мир не таким, каким он предстает на заре XX в. И проблема, которую предстоит решать нынешнему столетию, заключается в том, как достичь взаимодействия различных человеческих общностей на более широких и благотворных основах, которые обеспечили бы развитие всего человечества в соответствии с современными идеалами и с современными социальными требованиями».*

В 1910 г. она вышла из кейптаунской Лиги за гражданские права для женщин, когда Лига отказалась принимать в свои ряды не белых женщин.

В эти же годы она начала активно переписываться с Махатмой Ганди, а с началом Первой мировой войны заняла пацифистские позиции.

Как легко клеймить национализм другого народа, расизм другой расы — и как трудно критиковать расизм и национализм своих соплеменников, добиваться от «своих» уважения к «другим», «чужим»! Оливия Шрейнер встала на этот тяжкий путь смолоду и нашла в себе силы не сходить с него до конца дней.

*Использованы биографии:  
Давидсон А., Филатова И. «Южноафриканская писательница в России».  
Давидсон А. Б. «Оливия Шрейнер и ее книги».*



## ПРЕДИСЛОВИЕ

Как ни самостоятельны английские колонии в политическом отношении, во всяком случае они и поныне находятся под литературным влиянием своей метрополии. Самобытная национальная литература созревает позже всего остального и требует тщательно подготовленной почвы. Поэтому до самого последнего времени ни одна из крупных колоний Джона Буля, ни Канада, ни Южная Африка, ни Австралия не дали достойных упоминания литературных произведений. И даже романы, изображающие жизнь в этих странах, по большей части не местного происхождения, а написаны в Лондоне, чем и объясняется их фантастический колорит.

Весьма далеки от романтических небылиц, от рассказов о скрытых кладах и древних таинственных культурных народах, о львиных и буйволовых охотах и о борьбе с дикарями, все ради удовлетворения пресыщенных и притупившихся вкусов лондонской публики, хотя, впрочем, в этих рассказах до некоторой степени и отражается духовный мир английских искателей приключений и золота, — весьма далеки от них произведения английской писательницы Оливии Шрейнер.

Фамилия Шрейнер нередко упоминалась за последнее время и в политике. Генерал-прокурор Капской колонии, который так мужественно и энергично отстаивал в Джемсоновской комиссии интересы голландского населения Южной Африки против нападений Чемберлена и Родса, приходится братом писательнице. И брат и сестра, хотя различным оружием, одинаково борются за сохранение возникающей Африканской народности против английского насилия.

Как показывает имя писательницы, она германского происхождения со стороны отца, который был лютеранским священником в Капландии; мать ее была дочерью голландского проповедника, подвизавшегося в Ост-Лондоне.

Оливия Шрейнер — вторая дочь этой четы. Едва достигнув двадцати лет, она приехала в Лондон, намереваясь посвятить себя изучению физиологии. Уже тогда она привезла с собой рукопись своего первого романа и показала ее Джоржу Мередиту; исправив ее несколько, по совету последнего, она напечатала этот роман в 1883 году, под псевдонимом Ральф Айрон. «История африканской фермы», — так назывался этот роман, — имела выдающийся успех. В авторе признали вполне самобытного художника, индивидуальность которого не терпела шаблонов, и все невольно платили ей дань восхищения. За этим первым произведением в 1891 и 1893 гг. последовали собрания мелких рассказов и аллегорий, которые также были оценены по достоинству. В 1894 году писательница вышла замуж за африканского колониста г. Кронрайта.

Наиболее выдающимся произведением Шрейнер до сих пор является «Африканская ферма». Многие, вероятно, не читали этого романа и поэтому,

для полноты характеристики Шрейнер, считаем не лишним познакомить с его содержанием.

«История африканской фермы» вводит нас в одинокое поселение буров. Среди песчаной равнины, однообразие которой нарушается лишь там и сям небольшим холмиком, «копе» или ручьем, окаймленным уродливой низкой зеленью, стоит крестьянский домик, выстроенный из красного кирпича с соломенной крышей и окруженный овчарнями, хижинами кафров, повозками и сараями. Насколько глаз хватает, незаметно ни кустика, ни деревца; лишь кое-где растет несколько так называемых «Молочных кустарников», у которых теснятся запыленные овцы и ягнята, напрасно ища тени. Владелица этой земли — тетка Санни, безобразная, гадкая женщина из племени буров, грубая и простая в своих мыслях и чувствах. Она похоронила двух мужей и ищет третьего, в гордом сознании обладания огромными овечьими и страусовыми стадами. Тетка Санни не разборчива. «Пожалуй, все равно, с кем ни жить, — говорит она. — Одни мужчины жирны, другие худощавы; одни пьют простую водку, другие — можжевелевую, но в конце концов все сводится к одному; решительно все равно. Мужчина мужчина и есть». При таком образе мыслей она охотно бы вышла замуж за своего немца-управляющего, благочестивого и детски простодушного шваба, но тот совсем не замечает ее намерений. Бродяга англичанин, Бонапарт Бленкинс, изленившийся, хвастливый и хитрый мошенник, благодаря добродушию немца, который всему верит, что ему «ясно излагают», находит себе пристанище в усадьбе и скоро так овладевает доверием хозяйки, что намеревается вступить с ней в брак. С помощью клеветы он удаляет немца с его места и доводит его до могилы, но портит свою игру чрезмерным плутовством, так как одновременно ухаживает и за более богатой родственницей тетки Санни. В заключение ему удастся пленить другую старую вдову из племени буров. Тетка Санни также достигает под конец своей цели: она женит на себе почти силой молодого бура, владельца двух крестьянских дворов и 12 тысяч овец, деспотически распоряжается им, как прежними мужьями, и не прочь взять четвертого, «если Господу угодно будет этого отозвать».

В несложной и тихой обстановке этого двора вырастают три ребенка: падчерица хозяйки, Эм, скромная, простая, но очень сердечная девушка, предназначенная в жизни к тому, чтобы всюду занимать достойным образом второе место; затем племянница хозяйки, Линдаль, и сын управляющего немца, подпасок Вальдо. Эти два последних лица явно отражают в себе душевный строй и внутреннюю борьбу самой писательницы. Она вложила в них стремления своей даровитой натуры, возмущающейся рамками действительной жизни: в нежной и привлекательной Линдаль олицетворено стремление женщины к знанию и свободе, в мечтательном и юном пастухе Вальдо — горячий порыв к истине и свету, стремление высвободиться из узких рамок кальвинистской догматики к более широкой, свободной и полной вере. Но оба они терпят крушение. Линдаль, симпатичная, даровитая и

обворожительно-красивая девушка, у ног которой все мужчины, не хочет связать свою жизнь с одним человеком, которого любит; она делается любовницей богатого и влиятельного англичанина, и под конец умирает, похоронив сначала ребенка, гордая и непреклонная духом до самой своей смерти, как женщина Прометей. О ней самоотверженно заботится другой ее поклонник, весьма ограниченный и глуповатый юноша, который, переодевшись сиделкой, остается при ней до рокового конца. Вальдо возвращается из своих скитаний по свету хотя и умнее, но не богаче, и смиренно ищет в сознании своего единства с природой того покоя и умиротворения, которого не нашел в жизни и людях.

«История африканской фермы» весьма печальна. В результате ее оказываются обманутые желания и погребенные надежды; мужественный, покорный пессимизм составляет основной тон этого произведения.

Особенный интерес этой внутренней, душевной борьбы, этим попыткам разрешить основные вопросы бытия и вопросы о назначении женщины придает их искренность; в произведениях Оливии Шрейнер чувствуется серьезная и глубоко страстная натура, для которой общие вопросы представляют важнейшие и настоятельные личные нужды.

Эти глубокие, метафизические вопросы затрагиваются и в следующей книге, названной автором «Грезами». Она состоит из аллегорических рассказов, видений поэтического духа, соединяющего высшие нравственные стремления и глубокое чувство с могучей фантазией. «Грезы» написаны поэтической прозой и трактуют такие вопросы, как искание истины, значение жизни, сущность истинного искусства, людская любовь и прежде всего, опять-таки, освободительная борьба женщины. Величественная фантазия писательницы напоминает порою Данте.

Несколько прелестных рассказов, столь же совершенных в своем роде, как и своеобразных, под общим заглавием: «Жизнь в грезах и наяву» (1893 г.), — заканчивают ряд появившихся доселе беллетристических произведений Оливии Шрейнер.

Разумеется, Шрейнер стоит лишь у порога долгого пути: яркое свидетельство этого — новое произведение даровитой писательницы «Рядовой Петр Холькет», обратившее внимание лучших органов заграничной печати не только английской, но французской и немецкой. В развитии писательницы замечен значительный прогресс. Если сравнить первые ее труды с последними, то нельзя не заметить большого шага вперед не только в стиле и композиции, но и в идейном содержании. От отчаяния, проникающего ее первый роман, Шрейнер перешла к серьезной, исполненной доверия надежде, к вполне зрелому мирозерцанию. Как Редьярд Киплинг является бытописателем англо-индийской жизни, так Оливия Шрейнер первая возвысила голос за новую на юге Черного материка голландско-английскую народность, которая ведет теперь жестокую и тяжелую борьбу за свою самобытность.

Оливия Шрейнер

## РЯДОВОЙ ПЁТР ХОЛЬКЕТ

### ИЗ ВОЕННОГО ОТРЯДА В ОБЛАСТИ МАШОНОВ

#### I

Была темная ночь. С востока подул холодным ветром, не так сильно, чтобы потушить костер, разложенный Петром Холькетом, однако, достаточно, чтобы колебать его пламя. Солдат сидел один у огня, на вершине холма.

Кругом была тьма кромешная; ни одной звезды на всем небесном своде, черневшем вверху.

Петр Холькет шел с партией двенадцати человек, отвозивших запас провианта — рис и кукурузу, в следующий военный поселок. Его послали лазутчиком объехать цепь низких холмов, и он сбился с дороги. С восьми часов утра скитался он среди высокой травы, каменистых холмов и низкорослого кустарника и не видал никаких следов человеческого жилья, за исключением остатков сожженного краалья<sup>1</sup>, да вытоптанного и заброшенного поля кукурузы, где за месяц назад войско Привилегированной Компании<sup>2</sup> уничтожило туземное селение.

В течение этого дня три раза показалось Холькету, что он нечаянно воротился на то же место, откуда пошел; он и не намерен был особенно удаляться от этого пункта, зная, что, когда товарищи под вечер остановятся на ночлег и увидят, что его нет, они непременно пойдут искать его и явятся туда, где видели его в последний раз.

Петр Холькет очень утомился. Он целый день ничего не ел и крайне умеренно прикасался к содержимому маленькой фляжки с капской водкой, которую носил на груди в боковом кармане, и не знал еще, когда представится случай снова наполнить ее.

В сумерки он решился остановиться на ночь на вершине одного из небольших холмов, стоявшего совсем отдельно от остальных. Тут, с какой бы стороны ни подошли к нему, он непременно знал бы об этом. Он не особенно боялся туземцев: их поселки были уничтожены, хлебные запасы сожжены на тридцать миль кругом, а сами они разбежались; он боялся немножко львов, которых никогда не видал, но слышался о них, и ему

---

<sup>1</sup> Крааль — кафрское поселение.

<sup>2</sup> Мы переводим этими словами титул **Chartered Company**.



казалось, что они могли скрываться в высокой траве и в кустарниках, у подножия холма. Какой-то смутный страх охватывал его от сознания, что вот ему в первый раз предстоит одному провести долгую, темную ночь в чистом поле. К той поре, когда солнце закатилось, он натаскал на вершину холма кучу веток и обрубков. Он намеревался всю ночь поддерживать огонь и, как только стемнело, развел костер. Товарищи издали могут заметить огонек и придут к нему пораньше утром; дикие звери едва ли решатся подойти близко, пока он будет сидеть у самого огня, а туземцы?.. Он знал, что их бояться нечего.

Итак, он разложил костер и расположился провести всю ночь без сна, если удастся.

Рядовой Петр Холькет был худощавый человек, среднего роста, с покатым лбом и бледно-голубыми глазами; его челюсти были очерчены твердо, а тонкие губы большого рта изобличали сильное стремление к материальным благам и способность наслаждаться ими. На нижней части лица рассеяны были мягкие, белесоватые волоски — признак возмужалости. По временам он чутко прислушивался к звукам, могущим достигнуть до него издали, с того места, где товарищи остановились на ночлег, и, завидя его огонь, подать ему знак выстрелами из ружей. Еще внимательнее прислушивался он к более близким звукам; но все было тихо; только иногда было слышно, как потрескивал огонь его костра, да ветер слегка посвистывал, пробираясь сквозь щели каменистого холма.

Холькет снял свою большую шляпу, сложил ее и засунул в карман верхнего пальто; потом вынул и надел двухконечную шапочку, которую мать ему связала, и она так плотно облегла его голову, что только спереди высовывался надо лбом клочок светло-русых волос. Холькет поднял воротник своего пальто для защиты затылка и ушей от холода, а спереди распахнулся, чтобы погреться на ярком пламени костра. Бывали ночи и еще более холодные, но он проводил их вокруг лагерных костров, в обществе своих товарищей, в разговорах о том, как они стреляли в негров, да как разбивали селения или просто ворчали на то, что их скверно кормят; а сегодня ему казалось, что холод пробирает его до костей.

Холькета тяготила и непроглядная ночная тьма и эта тишина всего окружающего. Иногда ему хотелось услышать хоть крик шакала или дальний рев более крупного хищника; хоть бы ветер зашумел погромче, а не издавал этого тихого, шипящего свиста, обвевая острые камешки. Холькет посмотрел на свое ружье, лежавшее со взведенным курком на земле, справа; и от времени до времени машинально поднимал руку, ощупывая патроны, засунутые у него за поясом. Потом протягивал свои маленькие жилистые руки к огню и грел их. Было только половина одиннадцатого, а ему казалось, что он тут сидит уже часов десять, по крайней мере.

Через некоторое время Холькет подкинул в костер еще два больших полена и вытащил фляжку из кармана. Сначала он тщательно посмотрел

насквозь, много ли там водки, потом отпил маленький глоток, еще раз посмотрел, много ли осталось, и положил фляжку обратно в карман.

После этого рядовой Петр Холькет начал думать.

Это с ним случалось не часто. Обходя дозором или сидя в кругу товарищей у огня в лагерях, некогда было думать, да и в другое время Петр Холькет не имел этой привычки. В сельской школе он был довольно ленивым учеником, и хотя, по выходе его из школы, мать переплатила изрядно денег деревенскому лекарю за то, чтобы он с ним читал по вечерам ученые книжки об истории и о всяких науках, но у него в голове немного осталось из этого добра. Вообще говоря, он жил под впечатлением того, что окружало его непосредственно, пассивно воспринимал эти впечатления и также пассивно утрачивал их, не вдаваясь ни в какие размышления. Но теперь, сидя ночью на вершине холма, он призадумался, и мысли его цеплялись одна за другую довольно последовательно.

Сначала думал о том, дойдет ли письмо, которое он послал матери на прошлой неделе, и принесут ли его ей на дом или она сама за ним сходит на почту. Потом он задумался об английской деревеньке, где родился и вырос. Представлялись ему жирные белые утки, которых он видал на дворе материнской усадьбы, как они пролезают в подворотню и отправляются к небольшому пруду, вырытому на задворках. Представлялся ему школьный дом, ненавистный в детстве, и как он часто удирал оттуда, чтобы удить рыбу в речке или лазить по деревьям за гнездами. Представлялись ему гравюры, висевшие на стене классной комнаты, и как вечернее солнце ярко освещало их в те дни, когда его в наказание не пускали домой. На одной картинке был Иисус, благословляющий детей, а на другой, над самой дверью, Он же на кресте, с распростертыми руками, и из ног Его капала кровь.

Потом Петр Холькет начал думать о башне возле развалин, куда часто лазил за птичьими яйцами; а вечером, когда возвращался домой, мать стояла у ворот своего садика и, ухватив его руками за шею, целовала. Он чувствовал прикосновение ее рук, но чувствовал также и ее слезы на своей щеке, потому что он целый день пропадал и в школу не ходил. И ему казалось, что он просит у нее прощения, обещает никогда больше этого не делать, лишь бы она не плакала. С тех пор, как они расстались, он о ней часто вспоминал, и пока плыл на корабле и когда работал на приисках, и потом, когда поступил на военную службу; но вспоминал смутно, ни разу ясно не видел ее и не чувствовал. А вот сегодня он о ней соскучился и ему хотелось ее присутствия, как бывало, когда он лежал в кроватке и видел в соседней комнате ее тень, наклоненную над корытом; она была прачка и этим ремеслом зарабатывала деньги на его прокормление и одежду. Вспоминалось ему, как он звал ее к себе, а она придет, подоткнет ему одеяло и скажет: «Ты мой маленький Симон», — это было его второе имя, так же звали и его покойного отца, а мать звала его так только по вечерам, когда он лежал в постели, или когда ушибался.

Петр Холькет устался на огонь. Он решил, что наживет целую кучу денег и возьмет мать жить к себе. Построит себе в западной части Лондона большущий дом, такой большой, какого еще и невиданно, а потом другой дом заведет в деревне, и они больше никогда не будут работать.

И Петр Холькет сидел, точно каменный, пристально тараща глаза на огонь.

Кто ни приедет в Южную Африку, все наживаются; вот, например, Барни Барнато, Сесиль Родс — все нажились в этой стране, у кого восемь миллионов, у кого двенадцать миллионов... двадцать шесть... сорок миллионов... Отчего же и ему не разбогатеть?

Тут Петр Холькет вдруг встрепнулся и стал прислушиваться; но все было тихо, только ветер, пробираясь меж камней, всползал на вершину холма, точно большое, шипящее животное... И Петр снова устался на огонь.

Он задумался о своих делах и о том, какую сделает карьеру. Когда он отслужит свой срок в волонтерах, ему отведут большой участок земли, а у машонов и матабелей отнимут все их земли, и Привилегированная Компания издаст такой закон, чтобы обязать их работать на белых людей; тогда и Петр Холькет заставит их работать на себя, и наживет деньги.

Потом ему пришло в голову: что делать, если ему дадут плохую землю и она окажется никуда не годной? И он решил, что придется учредить синдикат и назвать его — Петра Холькета золотопромышленный, или Петра Холькета железорудный (или еще что-нибудь в этом роде) синдикат. Петр Холькет имел довольно смутные понятия о том, что такое синдикат, и как его учреждают; но был уверен, что по этому поводу он сам и несколько других лиц должны будут приобретать паи. Только они за них ничего не заплатят, а будут хлопотать, чтобы какой-нибудь крупный капиталист, живущий в Лондоне, тоже набрал паев. Он также не должен будет платить за них, они ему отдадут их даром, и тогда их компания пойдет в ход. Никто не заплатит денег, а между тем будет учреждена «Петра Холькета золотопромышленная компания; число паев ограничено» — и только. И в Лондоне всем будет известно; тогда и другие люди, никогда не бывавшие в этой стране, начнут покупать паи; эти-то, разумеется, должны заплатить за них чистыми деньгами... по пятнадцати фунтов за каждый пай, когда они поднимутся в цене! У Петра Холькета глаза зажмурились, так их пробрало огнем.

И вот, когда цены на акции поднимутся на бирже, Петр Холькет возьмет да и продаст все свои паи. Если он себе заберет, положим, хоть шесть тысяч паев и продаст их по десяти фунтов, у него будет вдруг шестьдесят тысяч фунтов!.. Ну, тогда он учредить другую компанию, потом третью...

Петр Холькет начал тихонько похлопывать себя по коленке. В том-то все и дело: спустить свои паи вовремя. В истине этой мудрости Петр Холькет не сомневался. Сколько раз он слышал об этом рассуждения! Раздай часть паев нескольким известным лицам с громким именем и продавай свои паи. И

они могут сделать то же самое, то есть во время спустить свои паи. Петр Холькет задумчиво похлопывал себя по колену.

А как же быть с теми, что купили паи на чистые деньги? Ну, что ж, и они могут поступить точно так же... Пускай все продают свои паи!

Но тут в голове у Петра Холькета что-то затуманилось. Ему становилось трудно соображать, как бывало в школе, когда зададут сложение из трех чисел, и он никак не может смекнуть, как пристегнуть третье к двум первым. Ну, положим, что они не захотят вовремя продать... Пускай уж тогда сами на себя пеняют... Зачем же они не продавали? Он, Петр Холькет, за них не ответчик. Всякий должен знать, что спускать паи надо вовремя. А коли не хотят, это уж их дело. Продать паи — будут деньги, а не продать — денег не будет. Только и всего. А если они не найдут покупателей?

Петр Холькет призадумался. Что ж, если паи окажутся так плохи, что никому не нужны, тогда пускай скупит их английское правительство; вот никто и не будет в накладе. «Британское правительство не допустит разорения британских пайщиков». Это довольно часто при нем говорили. Стало-быть, британский плательщик налогов и заплатит за Привилегированную Компанию, и за войско, и за все другое, в случае, если она сама будет не в состоянии; он же возьмет себе и все паи, коли Компания прогорит, и это уж непременно обязан сделать, потому что в компании участвуют всякие лорды, и герцоги, и принцы. И тогда, отчего бы им не заплатить за его компанию? Ведь и у него тоже будет какой-нибудь лорд!

Петр Холькет, глядя на огонь, совсем углубился в свои расчеты и проекты. «Петр Холькет, эсквайр, директор золотопромышленной Петра Холькета компании. Число паев ограничено». Потом, когда наберет много тысяч, он будет «Петр Холькет, эсквайр, член парламента». И, наконец, когда наживет миллионы, превратится в «сэр Питера-Холькета, тайного советника!»

Он глубоко задумался, глядя на огонь. Ведь, если иметь пять или шесть миллионов, можно делать, что хочешь, и бывать, где угодно. Можно явиться в Сандрингэмский дворец. Можно жениться, на ком вздумаешь. И никто тебя не спросит, кто была твоя мать, это уж все равно.

Им овладело странное, тупое ощущение, как будто голова кружилась или он опускался в пропасть. Петр Холькет расстегнул свой широкий ременный пояс и стянул его на две скважины потуже прежнего.

Если наживешь хоть два миллиона, и то можно постоянно держать повара и лакея, и всюду брать их с собой, в поле или на войну; и можно пить шампанское, и есть решительно все, чего душа пожелает; в настоящую минуту это показалось Петру важнее и соблазнительнее, чем ездить в Сандрингэм.

Он вытащил фляжку с «капским дымом» и отхлебнул крошечный глоточек.

Другие приезжали в Южную Африку тоже ни с чем, а наживали всего на свете! Почему же и ему не нажить?

Он подложил под оба крупные полена по несколько мелких веток, и огонь вспыхнул ярким пламенем.

Опять он стал прислушиваться. Ветер утих, и ночь становилась еще тише. Было четверть первого. У Холькета болела спина и ему хотелось прилечь, но он не смел, боясь уснуть. Он положил ногу на ногу, подался всем телом вперед, засунул руки между колен и стал смотреть на пылающий костер.

Немного спустя, мысли его начали путаться. Мало-помалу они превратились в ряд отрывочных картин, без всякого порядка возникавших в его мозгу. То ему казалось, глядя на трескучее пламя костра, что это тот огонь, который они подложили к складам туземного зерна, с целью сжечь запасы негров и кидали туда все, чего не могли унести с собой; то чудились ему домашние жирные утки, в развалку шедшие по тропинке, обросшей с обеих сторон густой зеленой травой. Потом виднелись ему шалаши, где он жил у золотопромышленников, и те туземные женщины, что жили с ним; и он размышлял: где-то теперь эти женщины?.. Потом ему представился старик машонского племени; часть головы его отшиблена ружейным выстрелом, а руки еще шевелятся. Слышались громкие вопли туземных женщин и детей, когда солдаты повернули и навели пушку на крааль; слышался взрыв динамита, раскрывший целую пещеру. Холькету казалось, что он заряжает пушку, а это уже не пушка, а жатвенная машина, которой он управлял в Англии; но впереди не желтые хлебные колосья, а негритянские головы; и когда он обернулся и посмотрел назад, ему почудилось, что они лежат ровными рядами, как вязанки пшеницы.

Поленья разгорелись очень светло, и когда с треском лопались, внутри виднелась раскаленная древесина. Этот треск и шипенье отдавались в его мозгу точно беглый батарейный огонь. Потом вдруг он вспомнил чернокожую женщину, которую он и его товарищ нашли в кустах и поймали: она была одна, с грудным ребенком, подвешенным на спине, а сама молодая и хорошенькая... Ну, эту они не застрелили... Что же такое, ведь чернокожая женщина не то, что белая! Вот матушка не понимает таких вещей! Как будто все равно, что в Англии, что в Южной Африке?.. Мало ли что здесь сделаешь, чего там нельзя... У него было такое неприятное чувство, будто он оправдывается перед матерью, и не знает, что сказать в свое оправдание.

Все ниже, ниже наклонялся он вперед; наконец, голова его очутилась так близко от огня, что клочок светлых волос, торчавший из-под шапочки, слегка подпалился. Он все еще таращил глаза на огонь, но веки его сами сомкнулись, руки спускались между колен все ниже. Наконец, никакие картины больше не возникали в его мозгу, и он чувствовал только жар от горящего костра.

Вдруг рядовой Петр Холькет вздрогнул и очнулся. Он сел прямо и прислушался. Ветер унялся, тишина была полная, а он все-таки слушал.



Пламя высоко взвивалось в недвижном воздухе, рисуясь двумя светло-красными языками среди окрестной темноты.

И вот с противоположной стороны холма слышались ему шаги, взбиравшиеся вверх по косогору. Он ясно различал медленный и ровный шаг босых ног, шедших в его сторону. Клок волос надо лбом рядового Холькета потихоньку встал дыбом. Он и не думал спасаться бегством, страх приковал его на месте. Он поднял с полу ружье. Смертельный озноб пробежал по его телу, от пяток к голове. Случалось ему быть при орудии в таких сражениях, когда по несколько сот человек туземцев бывало уложено на месте, и только один белый оказывался раненым; и никогда он не трусил; а сегодня его пальцы немели и неловко управлялись с ружейным замком. Он на коленях присел низко к земле, отчасти заслоняясь костром и держа ружье наготове. Каменный выступ наполовину закрывал его от всякого, кто взойдет бы на холм с противоположного откоса, и он решился выстрелить, как только появится чья-нибудь фигура.

Но тут в его голове мелькнуло соображение: что, если это один из его товарищей пришел за ним, а совсем не босоногий неприятель? Сердце защемило от мучительного ожидания, и с минуту Холькет не знал, что делать. Потом, замирая от ужаса, он крикнул:

— Кто идет?

И спокойный, тихий голос отвечал по-английски:

— Друг!

У Петра Холькета мигом отлегло от сердца, и он от волнения чуть не выронил ружья. Холодный пот выступил у него на лбу крупными каплями, но он продолжал держать ружье наготове, припав на одно колено.

— Чего тебе нужно? — закричал он дрожащим голосом.

Из темноты на краю холма показалась фигура, и огонь сразу осветил ее с головы до ног.

Рядовой Петр Холькет воззрился на нее.

То была фигура рослого человека, одетого в просторную полотняную рубашку, спускавшуюся ниже колен и облегавшую его тело. Голова его, руки и ноги были обнажены. У него не было никакого оружия; по плечам раскинулись густые пряди темных вьющихся волос.

Петр Холькет посмотрел на него с удивлением.

— Ты один? — спросил он.

— Да, я один.

Петр Холькет опустил ружье и выпрямился.

— Заблудился, должно быть? — молвил он, все-таки не выпуская ружья.

— Нет; я пришел попросить, можно ли мне немного посидеть у твоего огня.

— Конечно, конечно! — сказал Петр, внимательно разглядывая одежду странника, поставив ружье торчком, но сняв руку с замка. — Я даже рад хоть какой-нибудь компании. Жутко сидеть одному в такую скверную ночь. Удивляюсь, что ты не сбился с дороги. Садись, садись!

Петр еще раз пристально посмотрел на странника и положил ружье на землю, рядом с собою.

Странник присел с противоположной стороны костра. У него был смуглый цвет лица, руки и ноги бронзового оттенка; орлиный нос, выпуклый лоб; очевидно, он не принадлежал ни к одной из южно-африканских рас.

— Ты, вероятно, из тех суданцев, которых Родс привел с собою с севера? — сказал Петр, глядя на него с любопытством.

— Нет, меня привел сюда не Сесиль Родс, — отвечал странник.

— О-о! — молвил Петр. — А не встречал ли ты сегодня отряда из двенадцати белых человек, семи чернокожих и трех фур с провизией? Мы везли провиант в главный лагерь, да я с утра отбился от своего отряда. С тех пор искал, искал их, так и не нашел.

Странник медленно грел руки у огня, потом поднял голову.

— Сегодня они ночуют у подошвы тех холмов, — сказал он, указав рукою в темноту налево. — А завтра до восхода солнца будут здесь.

— О, так ты их встретил, видел? — воскликнул Петр с радостью. — Значит, потому и не удивился, что нашел меня здесь. Отпей капельку!

Он вытащил из кармана свою фляжку и протянул ему.

— Жалко, что тут немного осталось, но и этого довольно, чтобы согреться, — сказал он.

Странник наклонил голову, поблагодарил и отказался.

Петр поднес фляжку к губам и отхлебнул немного, потом опять спрятал ее в карман. Странник обхватил руками свои колени и стал смотреть в огонь.

— Да ты еврей? — вдруг спросил Петр, взглянув на лицо странника, ярко озаренное пламенем.

— Да, я еврей.

— Ага! — сказал Петр, — вот почему сначала я не мог разобрать, из какого ты народа; одежда на тебе такая...

Он запнулся, помолчал, потом продолжал:

— Вероятно, торговлей занимаешься? Ты из какой страны будешь, испанский, что ли, еврей?

— Из Палестины.

— А-а! — сказал Петр, — я тамошних мало встречал. Когда я плыл сюда на корабле, евреев было множество; видел я и Барнато и Бейта, но они на тебя не похожи. Палестинские, как видно, совсем другие.

Петр Холькет совсем перестал бояться странника.

— Садись поближе к огню, — сказал он — ты должно быть сильно прозяб, одежи на тебе немного. Я и в теплом пальто весь продрог.

Петр Холькет отодвинул ружье подальше и подложил в огонь еще одно большое полено.

— Жалко, что не могу предложить тебе ничего съестного; у самого со вчерашнего вечера ни крохи во рту не было. Такая гадость, когда приходится совсем-то обходиться без еды. Я даже не думал, что в одни сутки можно так

отощать. А тебе случалось оставаться совсем не евши? — осведомился Петр весело, грея руки у огня.

— Сорок дней и ночей, — отвечал странник.

— Сорок дней?.. Фь... ю... ю! — свистнул Петр. — Должно быть питья у тебя было вдоволь, а то бы не выдержал. Я было совсем окоченел на ту пору, как ты подошел, а вот теперь ничего, согреваюсь.

Петр Холькет поправил костер.

— Ты, вероятно, служишь Привилегированной Компании? — сказал Петр, глядя на разгоравшийся огонь.

— Нет, — отвечал странник, — я с этой Компанией не имею ничего общего.

— О, — сказал Петр, — после этого я не дивлюсь, что тебе так туго приходится. Здесь и для компанейских-то не больно жирное житье, коли они сами не главные заправилы, а уж остальным и вовсе плохо. Я было попробовал не поступать на службу к Компании вначале, как приехал сюда, а просто нанялся поденно у одного золотопромышленника, который тоже как-то пристегнулся к Компании. Ну, тут и я узнал, что денежки достаются не тем, кто работает, а тем заправилам, которые выхлопывают себе концессии!

Петр совсем развеселился в обществе странника. Этот безоружный, одинокий человек отнял у него всякий страх.

Видя, что странник не поддерживает разговора, через некоторое время Холькет продолжал сам:

— Впрочем, житье там было не дурное, и я бы не прочь хоть сейчас жить так же, как тогда. У меня было своих два шалаша да пара негритянских девок. Эти чернокожие бабы, — продолжал он, помолчав, — пожалуй, удобнее наших белых. Белую-то надо содержать, а черные тебя сами содержат! А если надоела, прогнал ее, и вся недолга. Я охотник до негритянок.

Петр рассмеялся. Но странник сидел неподвижно, обхватив колени руками.

— У тебя есть девки? — спросил Петр. — Негритянок любишь?

— Я люблю всех женщин, — сказал странник, разжав руки и снова обвил их вокруг колен.

— О, вот как! — сказал Петр. — Ну, а мне они, признаться, надоели. С моими было тоже не мало хлопот, — продолжал он словоохотливо, грея руки у огня; потом сцепил пальцы и повернул обе ладони к костру, собираясь рассказать что-то забавное. — Одна была совсем девочка, пятнадцати лет; я ее дешево купил у полицейского, который с ней жил, но не могу сказать, чтобы она мне особенно нравилась. Зато другая... Господи! Другой такой негритянки я не видывал: стройная, статная, прямая, как... вот! (при этом Петр вытянул вверх свой указательный палец). Ей было лет тридцать наверное. Парни вообще не охотники до женщин этого возраста, предпочитают девчонок. А я, с того часа как увидел эту, решил овладеть ею.

Владел ею товарищ, с которым я жил. Он ее достал на севере. И тоже не даром она ему досталась. У ней, видишь ли, был муж негр и двое ребятишек, и она ни за что не хотела их покинуть, упрячилась, значит, и выделявала всякие глупости... Ну, известно, что за народ эти чернокожие. Вот и стал я уговаривать товарища, чтобы он уступил мне ее; да нет, черт его дери, не дает! Мне досталась только та, девчонка, и она была мне не по вкусу... так, совсем огрызок какой-то. Вот пошел я в Умтали, накупил водки и разных разностей и, воротившись в лагерь, застал их в полном разорении. Десять дней уж ни одной капли водки не оставалось в запасе, а между тем, наступала дождливая пора, и они не знали, как и откуда достать провианту. Ну, вот, был у меня эдакой бочонок (тут он показал рукой на высоту двух футов от земли), и товарищу ужасно хотелось его купить у меня. Но я не промах.

Говорю, мне самому нужно. Он предлагает мне и то и это. Наконец, я говорю: ну, хорошо, так и быть, я тебе удружу; бери бочонок себе, а мне отдай на промен бабу! Так мы и сделали. Другой, на моем месте, не польстился бы на чернокожую девку, у которой уж было двое чернокожих ребят, а я не побрезговал; мне все равно. Ну, и работала же она! Развела она огород, и они, обе, с другой девкой, там копались. Поверишь ли, в полгода мне не пришлось и шести пенсов истратить на их корм; еще я же потом продавал товарищам зеленую кукурузу и арбузы. Так все и кипело у ней в руках! И по-английски она выучилась гораздо скорее, чем я стал понимать по-ихнему; и одеваться стала как следует, даже шаль носила.

Странник сидел неподвижно и все смотрел на огонь.

Петр Холькет переменял положение и примостился у костра поудобнее

— Ну, вот, — продолжал он, — прихожу я как-то к себе домой, неожиданно, знаешь ли... понадобилось мне что-то захватить из шалаша, прихожу, и что же вижу? Стоит она у дверей и разговаривает с негром. А я им строго наказывал, чтобы никогда не смели разговаривать ни с одним чернокожим мужчиной; смотрю и спрашиваю, что это значит? А она преспокойно мне отвечает, что это прохожий — попросил у ней напиться воды. Я велел ему убираться прочь и совсем позабыл про это. А теперь вспоминаю, что на другой день видел, как он слонялся вокруг лагеря. На третий день приходит она ко мне и просит дать ей ружейных патронов. Никогда она ничего у меня не просила. Я спрашиваю: на какого черта понадобились бабе ружейные патроны? Тогда она сказала, будто старуха-негрятянка, помогавшая ей таскать воду для поливки огорода, отказывается помогать, если мы не дадим ей патронов, потому что они ей нужны для ее сына, а он отправляется к северу бить слонов. Ну, так она меня обошла, что я дал ей патронов, потому что она была беременна и говорила, что не может больше одна поливать. Я и дал патронов. Все оттого, что недогадлив был.

Вот прослышал я, что Компания собирается воевать с матабелями, и вздумал пойти волонтером. Ребята говорили, что там будет тьма наживы, и

земли будут раздавать, и всякая такая штука, и я полагал, что это дольше трех месяцев времени не возьмет, и пошел на войну.

Женщин я оставил дома, и в огороде много всякой всячины, и сахару, и рису про запас, и сказал им, чтобы не отлучались, покуда я не ворочусь, а товарищей просил маленько присматривать за ними. Но эти женщины были машонского племени, и всегда они уверяли, будто машоны не любят матабелей; только вышло так, что они, ей Богу, любят их гораздо больше, чем нас. И ведь какова дерзость! Говорят, что матабели изредка их притесняют, а белые люди будто бы притесняют их всегда!

Ну, вот, оставил я женщин дома, — продолжал Петр, ударив себя ладонями по коленям. — И надо сказать, что обращался я с ними, как не надо лучше. За все время ни разу пальцем не тронул ни той, ни другой. Все даже дивились на меня, — так я с ними хорошо обращался. Через месяц после выступления в поход получаю я письмо от товарища, с которым прежде вместе работал на приисках, а потом у него же выменял бабу... он теперь умер, бедняга: нашли его у дверей хижины с перерезанным горлом!.. И как ты думаешь, что он мне написал? Написал он мне, что через шесть часов после моего ухода обе женщины бежали! Это все старшая спроворила. Знаешь, что она сделала? Обобрала все до одного патроны, какие были в шалаше, стащила и мое старое ружье, системы Мартина-Генри, и даже свинцовую крышку с чайницы... Это для того, чтобы из нее отлить несколько пуль для их старых мушкетов, а сама бежала и младшую с собой увела. Товарищ писал, что они ничего другого не взяли; все шали и платья, что я им дарил, разбросали по полу, ушли нагишом, только обернулись в свои одеяла, а боевые снаряды нагроулили себе на головы, и дали тягу. Один негр говорил потом, что встретил их миль за двадцать к северу, и они бежали, что есть духу, в область Ло-Магунди.

«И, знаешь ли, — продолжал Петр, ударив себя по коленке и выразительно глядя на странника поверх костра, — знаешь ли, в чем я так уверен, как в том, что мы с тобой тут сидим? Я думаю, что негр, которого я застал тогда на пороге моего шалаша, был именно никто другой, как ее чернокожий муж! Он затем и приходил, чтобы ее увести, а когда она увидела, что сейчас уйти нельзя, все равно поймают, то и надумала выпросить у меня патронов... все для него же! — Петр значительно помолчал, потом прибавил: — А теперь, значит, она ушла совсем к нему, и всю амуницию ему же снесла!

И он посмотрел поверх костра на странника, желая узнать, какое впечатление произвела на него эта история.

— А знаешь, — сказал Петр, — если бы я в тот день догадался, кто таков этот проклятый негр, что стоял у моего шалаша, я бы ему сам пожертвовал один патрон, я всадил бы ему пулю в затылок, так что он и не узнал бы, откуда такой подарок получил!

И Петр с торжествующим видом посмотрел на странника. Это был единственный интересный анекдот из его жизни, и он рассказывал его



десятки раз у походного костра, как только случалось ему побеседовать с новичком. Когда он доходил до этого пункта, в толпе окружающих раздавался обыкновенно шепот одобрения и сочувствия; но в этот раз тишина была полная. Большие черные глаза странника так пристально смотрели в огонь, как будто он ничего не слышал.

— Положим, я бы не очень об этом сокрушался, — сказал Петр, помолчав немного, — хотя, конечно, ни одному мужчине не может быть приятно, если у него отняли его бабу, но дело в том, что месяца через два она должна была родить, да и другая тоже, насколько мне известно... Похоже было на то. Того и гляди, что они уморили этих младенцев еще до рождения; ведь эти негры совсем бессердечные, им ничего не значит погубить дитя от белого человека. И женщины их бессердечные, как с ними ласково ни обращайся, они все равно норовят уйти обратно к своему чернокожему. Если взять их совсем маленькими и держать вдали от родичей, тогда ничего, привыкают к нам. Но раз у негритянки был чернокожий муж и от него чернокожие дети — кончено! Словно ведьма делается, не удержишь ее ничем... уйдет! Коли меня когда-нибудь убьют, я думаю, что буду убит из своего же ружья и своими патронами. А она будет стоять тут же и подбодрять их, даром что ни одного раза я не ударил ее за все время, что она жила со мной!.. Но я тебе вот что скажу: если когда-нибудь встречу этого самого проклятого негра, то отплачу ему. Лишь бы мне его выследить да увидеть — немного он наживет на свете!

Петр Холькет замолчал. Ему показалось, что глаза странника из-под густых завороченных кверху ресниц с бесконечною печалью смотрят на что-то далекое и как будто заволоклись слезами.

— По всему видно, что ты больно устал, — сказал Петр: — ложись-ка, усни. Голову положи вот сюда, на камень, а я постерегу.

— Я спать не хочу, — сказал странник, — и посижу вместе с тобою.

— Я замечаю, что и ты побывал на войне, — сказал Петр, слегка нагнувшись и глядя на ноги странника. — Господи, обе изранены, да еще насквозь! Должно быть очень было больно?

— Это было очень давно, — сказал странник.

Петр Холькет подкинул в огонь еще два полена.

— А знаешь, — сказал он, — с той минуты, как ты пришел, я все думаю, кого ты мне напоминаешь? И нашел: мою мать ты мне напомнил. Лицом ты на нее не похож, но когда смотришь на меня, мне так и кажется, что это она на меня смотрит. Странно, не правда ли? Я тебя сроду не видывал и ты мне двух слов не сказал, а кажется, будто я век тебя знаю!

Петр придвинулся ближе к страннику.

— Сначала, как ты пришел, я тебя ужас как испугался, и потом еще боялся, как рассмотрел, потому что ты не так одет, как мы прочие. Но как только огонь осветил твое лицо, я совсем успокоился и подумал: ничего все ладно! Странно, не правда ли? В первый раз в жизни встречаюсь с тобой, но если бы ты сейчас взял мое ружье и прицелился в меня, я бы с места не

двинулся. Хоть сейчас лягу спать и голову положу у твоих ног. Ну, не странно ли это, если я тебя сроду не видывал? Меня зовут Петр Холькет. А тебя как?

Но странник поправлял поленья в костре; пламя вспыхнуло и взвилось так высоко, что почти скрыло его из глаз Петра.

— Эге! Как они горят от твоей поправки! — сказал Петр.

Несколько минут они сидели тихо, озаренные сильным огнем.

Потом Петр сказал:

— Ты не видал ли вчера негров тут, поблизости? Я, сколько ни ходил, ни одного не встретил.

— Вон там, — сказал странник, приподнявшись, — в пещере есть одна старая женщина и в десяти милях отсюда, в кустах, есть человек. Он живет там уже шесть недель, с тех пор, как вы уничтожили крааль, питается травой и кореньями. Он был ранен в бедро и брошен замертво. Ждет, пока вы все не уйдете из этого края, тогда и он последует за своим племенем. У него нога еще настолько ослабела, что он не может скоро ходить.

— Ты с ним разговаривал? — сказал Петр.

— Я водил его пить к озеру. Там берега крутые, он не мог бы спуститься один к воде.

— Счастье твое, что наши ребята на вас не наткнулись. У нас капитан ух какой строгий, мигом велел бы тебя расстрелять, если б увидел, что ты возишься с раненым негром. Оно и лучше, что ты не попался ему на глаза.

— И воронятам приносят мяса на корм, — сказал странник, выпрямляясь, — и львы ходят пить к реке.

— Так-то так, — сказал Петр, — но это потому, что мы не в силах им помешать.

Некоторое время они помолчали. Тогда Петр, видя, что странник не расположен начинать разговора, сказал:

— Слышал ты, какая вышла потеха там, по дороге в Булавайо, как наши ребята вешали троих негров за шпионство? Я там не был, но один парень сам видел и мне рассказывал, что они заставляли самих негров вешаться: накинули им петли на шеи и велели прыгать с дерева вниз. Один негр ни за что не хотел прыгнуть, пока они не шарахнули его дробью в спину; тогда он руками ухватился за ветку, и они должны были прострелить ему руки, чтоб отстал. Вот как ему не хотелось быть повешенным! Я, конечно, не знаю, правда ли это, сам там не был, а мой товарищ был и мне рассказывал. И потом еще один парень из Булавайо, выдавший, как их вешали, говорил, что в них стреляли после того, как они сами спрыгнули, чтобы скорее убить. Я...

— Я был там, — сказал странник.

— А, и ты был? — сказал Петр. — Я видел фотографии, как эти негры висят, а наши парни стоят кругом и трубки курят; но тебя не было в группе. Должно быть, ты только что ушел?

— Я был возле негров, когда их вешали, — сказал странник.

— Ах, вот как! — сказал Петр. — А я не охотник до таких вещей. Иные парни ужасно это любят, говорят, что презабавно смотреть, как негры корчатся; а я не люблю... с души воротит. И не то, чтобы я трусил, — поспешил Петр оговориться, боясь, как бы странник не усомнился в его храбрости: — коли надо идти в драку, сражаться, на это я готов. Небось, я не меньше других в нашем отряде переколотила негров на своем веку. А вот, когда их секут или вешают, я этого не терплю. Конечно, все зависит от того, как кто воспитан. Матушка моя даже наших домашних уток никогда не резала; давала им помирать от старости, а мы от них пользовались только яйцами да пухом; и все-то она мне в уши жужжала: «Не бей тех, кто меньше тебя, не ушиби слабенького, не дерись с таким, который не в силах дать тебе сдачи». Вот, когда с детства прожужжат тебе уши такими словами, и не можешь от них отделаться. Или вот, например, они одного негра расстреливали; и говорят, что он сидел смирно, точно каменный, ухватившись руками за колени, а некоторые из парней стали бить его по голове и по лицу перед тем, как повели расстреливать. А я бы ни за что не мог этого сделать. Просто меня тошнит и ноет вот тут (Петр приложил руку к животу под ложечкой). Стрелять в них я готов, сколько угодно, особенно когда они бегут, но только бы их не привязывали к дереву.

— Я там был, когда его расстреливали, — сказал странник.

— Э, да ты везде побывал! — сказал Петр. — А видал ты Сесиль Родса?

— Да, я его видел, — оказал странник.

— Вот он так негров до смерти не любит, — сказал Петр Холькет, грея руки перед огнем. — Говорят, когда он был первым министром там, в колонии, он хотел провести такой закон, чтобы хозяева и хозяйки имели право сечь своих слуг всякий раз, когда они сделают что-нибудь им не по нраву; только другие англичане не согласились на это и не пропустили закона. Ну, а здесь-то он распоряжается по-своему. Потому иные хозяева и держатся за него, и боятся, как бы его отсюда не убрали. Они рассуждают так: коли здесь заведут английское управление, ведь неграм земли дадут, и у них будет чем питаться, а потом они получают право голоса на выборах и учиться станут, и получают образование, и все такое; а Сесиль Родс — шалишь! Он их в бараний рог согнет, в ступе толочь будет! «Я, — говорит он, — больше люблю землю, чем негров»... И говорят, будто он хочет поделить их на части, расселить по разным местам и насильно заставить работать на нас... в роде, как отдать нам их в неволю, знаешь ли... А когда они состарятся — не наша забота. Преотличную это штуку выдумал Родс; я его очень одобряю. Мы сюда не за тем приезжаем, чтобы работать; это хорошо там, в Англии; а сюда мы едем наживать деньги, и как же их иначе наживешь, как не заставив негров на тебя работать или не устроив синдиката?.. Родс терпеть не может негров! — продолжал Петр задумчиво. — Говорят, если будет здесь английское управление, и примерно, избил бы ты своего негра, да с ним бы что-нибудь приключилось, тотчас следствие

назначат, и все такое. А с Сесилем это все ладно, можно с неграми делать все, что угодно, только его самого не запутывай.

Странник смотрел на огонь, разгоревшийся ярким пламенем в тихом ночном воздухе; вдруг он встрепнулся.

— Ты что, — сказал Петр, — или услышал что-нибудь?

— Слышу, — сказал странник, — слышу там, вдали, плач и слышу звук ударов... И голоса людские, мужчины и женщины, призывают меня.

Петр прислушивался внимательно.

— Я ничего не слышу! — сказал он. — Должно быть у тебя в голове шумит. Это и со мной бывает... такой большой шум поднимется в ушах. — Он еще прислушался. — Нет, ничего не слышать. Тишина мертвая.

Некоторое время они посидели молча.

— Петр-Симон Холькет, — произнес вдруг странник, и Петр даже вздрогнул, потому что он не говорил ему своего другого имени, — если случится, что тебе дадут землю, которую ты желаешь, и чернокожих людей для обработки твоей земли, и ты наживешь много денег; или если бы ты учредил эту компанию (Петр опять вздрогнул) — и глупцы стали бы покупать твои паи, и сделался бы ты самым богатым человеком в краю; и накопил бы ты себе земель, и построил бы дворцов, и князья и великие мира сего стали бы пресмыкаться перед тобой и протягивать к тебе руки, чтобы ты совал им в руки деньги... какая бы из этого вышла для тебя польза?

— Как, какая польза! — сказал Петр Холькет и вытаращил на него глаза. — Всякая польза, разумеется. С чего же и Бейт, и Родс, и Барнато стали такими великими людьми? Как зашибешь восемь миллионов, так небось...

— Петр-Симон Холькет, из тех душ, что ты видал на земле, которая показалась тебе выше? Которая душа тебе больше нравилась? — сказал странник.

— Ах, — сказал Петр, — ведь мы не о душах говорим, а о деньгах. Конечно, если бы дело шло о душах, я бы сказал, что лучше моей матери никого в свете нет. А какая была ей от этого польза? Весь свой век стоит у корыта, стирает белье на разных франтих и важных барынь! Вот погоди, я еще наживу денег. И когда наживу, пускай уж кто-нибудь другой...

— Петр Холькет, — сказал странник, — кто больше: кто служит, или тот, кому служат?

Петр посмотрел на странника и подумал: «Должно быть он с ума сошел».

— О-о! — молвил Петр, — коли станем разбирать, кто чего стоит, так ведь можно и до того дойти, что ты, сидя тут в одной старой холщевой рубашке, такой же важный человек, как Сесиль Родс, или Бейт, или Барнато, или сам король. Конечно, все люди, все человеки, в чем бы они ни ходили и чем бы ни владели; да другим-то людям это не все равно, поневоле различаешь...

— Бывало, что и цари рождались в хлевах, — сказал странник.

Тут Петр догадался, что он шутит и рассмеялся.

— Если и бывало, то верно очень давно, — сказал он, — нынче уж этого не случается. Нынче, хоть бы Сам Господь Бог пришел сюда, да не имел бы хоть на полмиллиона паев, и на Него не обратили бы внимания.

Петр стал поправлять костер и вдруг почувствовал, что странник пристально смотрит на него.

— Кто тебе дал землю? — спросил странник.

— Мне-то? От Привилегированной Компании получил, — сказал Петр.

Странник снова уставился глазами на огонь.

— А они от кого получили ее? — спросил он кротко.

— Да от Англии, конечно. Она уступила Компании всю землю по обеим берегам реки Замбезе, чтобы они ею распоряжались, как хотят, и выжимали из нее денег, сколько могут; а сама обещала стоять за них.

— А кто дал эту землю англичанам? — спросил странник тихо.

— Ах, черт! Они взяли ее себе и сказали, что она им принадлежит... Как же иначе! — сказал Петр.

— А население этой страны? Разве Англия и народ вам отдала вместе с землей?

Петр с некоторым сомнением взглянул на странника.

— Ну, да, конечно, и народ тоже. Иначе что ж мы стали бы делать с землей?

— А кто же дал ей право распоряжаться этим народом, живыми людьми с плотью и кровью, и как она могла дарить их, передавать в другие руки? — спросил странник, выпрямляясь.

Петр немножко оторопел и посмотрел на него испуганно.

— Куда же было давать эту кучу дрянных негров, коли не дарить их? Они ровно никуда не годятся, да еще и мятежники, — сказал Петр.

— Что значит «мятежник»? — спросил странник.

— Господи! — сказал Петр, — должно быть ты жил отшельником, коли не знаешь, что значит «мятежник». Это такой человек, который возмущается против своего государя и против своей страны. Эти злые негры оттого и мятежники, что дерутся против нас. Они не хотят, чтобы Привилегированная Компания забирала их в руки. Но хочешь — не хочешь, а уж она их заберет! Мы их проучим, — говорил Петр Холькет, возгоравшись воинственным духом; и так твердо уселся на почве Южной Африки (о которой за два года перед тем никогда не слыхивал, а восемнадцать месяцев назад не видал ее в глаза), как будто это была его собственная родина, то самое место, где он на свет родился.

Странник смотрел в огонь и сказал задумчиво:

— Видел я одну страну, далеко отсюда. В этой стране живут бок о бок люди двух различных племен. Около тысячи лет тому назад одно из них покорило себе другое, и с тех пор они живут вместе. А теперь то племя, что было завоевано, хочет изгнать своих победителей. Что же, эти люди тоже мятежники?



— Видишь ли, — сказал Петр, обрадованный тем, что спрашивают его мнения, — тут все зависит от того, какие это народы.

— Один зовется турками, а другой — армянами, — отвечал странник.

— О-о! армяне вовсе не мятежники, — сказал Петр: — они с нами заодно. В газетах об этом много пишут, — прибавил Петр, очень довольный случаем выказать свои познания. — Эти турки презлущие! С чего они вздумали забирать армян? Кто дал им право на их землю? Мне самому хотелось бы их поколотить.

— Почему же армяне не мятежники? — кротко спросил странник.

— Ох, какие странные вопросы ты задаешь! — сказал Петр. — Коли им турки не нравятся, зачем же они станут им поддаваться? Если бы, например, пришли французы и забрали нас, а мы, при первой возможности, постарались бы выпереть их вон, ведь никто бы не сказал, что мы мятежники? Также и армяне: почему бы им не прогнать турок? И притом, видишь ли, — продолжал Петр, подавшись вперед и говоря таким тоном, как будто сообщает очень важную тайну, — если мы не поможем армянам, русские вступятся и помогут им, а мы (тут Петр выразил на своем лице величайшую дипломатическую тонкость) — мы не можем этого допустить: иначе они заберут землю, а по этой земле идет путь в Индию. И мы не должны этого позволить. Вероятно, вы там у себя, в Палестине, не больно много занимаетесь политикой, — сказал Петр, глядя на странника благосклонно и покровительственно.

— А если здешние люди предпочитают оставаться свободными, — сказал странник, — или рассудили, что для них лучше подчиниться английскому правительству, чем Привилегированной Компании, и возмущаются против этой Компании, разве они больше мятежники, чем армяне, восстающие против турок? Разве эта Компания — Бог, что все обязаны преклониться и пасть ниц перед нею? Вот вы, белые люди, английские подданные, разве согласились бы хоть на один день подчиниться ее власти?

— Ах, нет! — сказал Петр, — конечно, нет, потому что мы белые люди, и армяне тоже белые... то есть почти что белые... — Тут он мельком взглянул на смуглое лицо странника и поспешно прибавил: — Конечно, тут не в цвете дело. Я, признаться, даже люблю смуглых... у моей матушки глаза совсем карие... но у армян, кроме того, и волосы такие же длинные, как у нас.

— Так, значит, все дело в волосах, — кротко заметил странник.

— О-о, нет же, конечно, не совсем! Но это другое дело, и как же можно их сравнивать! Армяне хотят освободиться от турок, а ведь эти лютые негры норовят избавиться от Привилегированной Компании... Да к тому же, армяне ведь христиане, как и мы!

— Разве вы христиане? — молвил странник, и по его лицу пробежала точно молния. Он выпрямился и встал на ноги.

— Еще бы, разумеется да! — сказал Петр. — Мы, англичане, все до одного христиане? Ты, может быть, не любишь христиан? Из евреев многие нас не любят, я знаю, — сказал Петр, глядя на странника примирительно.

— Я никого ни люблю, ни ненавижу только потому, как кто называется, — сказал странник. — Имя ничего не значит.

Он снова присел к огню и сложил руки.

— А Привилегированная Компания тоже христианская? — спросил он.

— О, да, конечно! — сказал Петр.

— Что же значит «христианин?» — спросил странник.

— Ну, вот, какие ты все задаешь странные вопросы! Христианин, это такой человек, который верит в рай и в ад, в Бога, в Священное писание и в Иисуса Христа; и верит, что Он спасет его от ада, и всякий, кто верит, тот и спасется, непременно спасется.

— Но здесь-то, на этом свете, что такое христианин?

— Да вот, — сказал Петр, — например, я христианин, и... и все мы христиане.

Странник смотрел в огонь, и Петр подумал, что лучше переменить разговор.

— Удивительно, как ты похож на мою матушку, то есть по духу. Вот и она мне всегда говорила: «Не надо слишком гоняться за деньгами, Петр. Чрезмерное богатство такая же плохая штука, как и чрезмерная бедность». Да, ты на нее очень похож.

Помолчав немного, Петр подался вперед, поближе к страннику, и сказал:

— Коли ты не думаешь о наживе, зачем же ты пришел в здешнюю сторону? Сюда, кажется, ни зачем иным не приезжают. Или, может быть, ты за португальцев?

— Я не больше за португальцев, чем за всякий другой народ, — сказал странник: — мне все что француз, что англичанин, и англичанин для меня не лучше кафра, и кафр не лучше китайца. Слышал я, как плакал чернокожий младенец, ползая по телу своей матери, ища ее груди, а она лежала мертвая на дороге. Слышал и во дворце слезные крики ребенка, сына богачей. Я слышу все вопли на земле.

Петр пристально смотрел на него.

— Но кто же ты такой? — спросил он, наклоняясь к страннику все ниже и, взглянув ему в глаза, прибавил: — Что ты, собственно, делаешь здесь?

— Я принадлежу, — сказал странник, — к самой могущественной Компании в свете.

— О-о! — молвил Петр, выпрямляясь, и лицо его сразу потеряло свое озадаченное выражение. — Так вот что! А мне и невдомек. Чем же вы занимаетесь? Брильянтами или золотом, или земли скупаете?

— Наша компания самая распространенная по всему миру, — сказал странник, — и она все растет. В нее входят люди из всех человеческих племен, из всяких стран: есть у нас эскимосы, китайцы, турки и англичане, и представители всевозможных сект и религий: буддисты, магометане,

последователи Конфуция, вольнодумцы, атеисты, христиане, жидаы. Нам все равно, каким бы именем ни назывался человек, лишь бы он был заодно с нами.

И Петр сказал:

— Должно быть трудно вам сговориться между собою, коли вас так много и все из разных стран?

Странник отвечал:

— У нас есть такой признак, по которому мы распознаем друг друга, а остальные люди в мире могут нас распознавать<sup>3</sup>.

— Какой же это признак? — спросил Петр.

Но странник молчал.

— Ах, это что-нибудь в роде масонства! — сказал Петр, опершись на локоть и глядя на странника из-под околыша своей двухконечной шапочки. — А есть ли в здешней стороне еще кто-нибудь из вашей компании?

— Есть, — сказал странник, указывая рукой в темноту. — Там, в пещере, были две женщины. Когда вы взорвали пещеру, они обе остались целы и скрыты обвалившимся камнем. Когда вы забрали все хлебное зерно и сожгли то, что не могли унести, там оставалась одна корзина с зерном, о которой вы ничего не знали. Женщины остались там, ибо одной восемьдесят лет, а другая должна была на-днях родить; и они не посмели идти вслед за остатками своего племени, потому что вы были на нижней равнине. Каждый день старуха отделяла часть зерна из корзины и по ночам они стряпали себе еду внутри пещеры, откуда вам не видать было дыма от их огня. И каждый день старуха брала на свою долю одну горсть, а молодой женщине давала две, говоря: «Это на долю младенца, что живет в тебе». И когда родился младенец и молодая женщина оправилась и окрепла, старуха взяла кусок ткани, высыпала в него все, что оставалось зерна в корзине, весь сверток привязала молодой женщине на голову, а младенца ей на спину и сказала: «Ступай, иди все берегом реки к северу и придешь в ту землю, где укрылось наше племя; после когда-нибудь прийдешь за мной». Молодая спросила: «Довольно ли ты оставила себе зерна, достанет ли тебе до прихода наших?» И старая сказала: «Для меня довольно». И села у разбитой двери в пещеру и смотрела вслед уходившей, пока та спускалась с холма, шла берегом вверх по течению и скрылась в кустах; тогда старуха стала смотреть на нижнюю равнину и увидела то место, где был их крааль, и где она садила кукурузу, когда была молодой девушкой...

— А ведь я встретил женщину с зерном на голове и с младенцем за плечами!.. — проговорил Петр вполголоса.

— И сегодня я видел, как она опять сидит у двери в пещеру; когда солнце село, она прозябла и вползла назад в пещеру, и легла возле пустой корзины. Сегодня в ночь она умрет в половине четвертого часа. Я знал ее с

---

<sup>3</sup> «По тому все люди будут знать, что вы Мои ученики, что вы станете любить друг друга».

той поры, когда она была ребенком и играла среди шалашей, пока ее мать работала в поле и садила кукурузу. Она была тоже из нашей компании.

— Вот как! — сказал Петр.

— Есть здесь и другие, — сказал странник. — Там, на севере, был один золотопромышленник; он пил водку и ругался по временам; но у него было множество слуг, и они знали, что в случае надобности всегда могут прибегнуть к его помощи. Когда они бывали больны, он сам ухаживал за ними, и когда были в нужде, приходили к нему за пособием.

Когда началась теперешняя война и сердца чернокожих ожесточились, потому что некоторые из белых обманули их, а другие убили тех, кого они посылали просить Англию простереть им руку помощи, в это время несколько человек негров, воевавших с белыми, пришли к хижине золотопромышленника. А он провертел дыру в своей двери и оттуда выстрелил в них. Тогда и они в него выстрелили из старого слоновьего ружья, и пуля попала ему в бок, и он упал на пол, ибо невинный часто страдает за виновного, и милосердный падает, а угнетатель преуспевает. Тогда бывший при нем чернокожий слуга проворно схватил его на руки, унес через заднюю дверь в сад, а оттуда спустился в речное русло, где нельзя соследить его шагов, и отнес и спрятал в яму, вырытую в речном берегу. Когда негры ворвались в хижину, они не нашли в ней белого и не могли найти следов его ног. Вечером чернокожий слуга прокрался назад в хижину за пищей и лекарством для своего хозяина. Но негры поймали его и сказали: «Ах ты, предатель своего племени, сторожевая собака белого человека! Стало быть, ты заодно с теми, кто отнимает у нас земли и наших жен и дочерей; говори сейчас, куда ты его спрятал?» Он не хотел отвечать, и они его взяли и умертвили у дверей хижины. И когда настала ночь, белый человек приполз на четвереньках и дотащился до своей хижины поискать пищи. Все люди, между тем, ушли, один его слуга лежал мертвый перед дверью; и белый человек догадался, что тут произошло. Дальше он не в силах был ползти и лег у двери; и в ту ночь белый человек и чернокожий лежали рядом и вместе, оба мертвые. Эти тоже оба были моими друзьями.

— Славный парень был этот негр! — сказал Петр. — Я и прежде слышал, что они проделывают такие штуки. Была даже одна девушка, ни за что не хотела признаться, где ее хозяйка спряталась; и ее убили... Однако, что же это, — продолжал он в недоумении: — в вашей компании только и есть негры, или люди, которых убивают?

— У нас люди из всяких племен, — сказал странник. — В большом городе, старой колонии есть один из наших, человек малого роста и слабый голосом. В одно воскресное утро, когда прихожане собрались в церкви, взошел он на кафедру, и когда пришло время сказать проповедь, он обратился к ним с такими словами: «Сегодня вместо проповеди я прочту вам одну историю». И он развернул старую книгу, написанную больше двух тысяч лет назад, и стал читать:

«Случилось, что у Навуфея, израильтянина, был виноградник и был он рядом с дворцом Ахава, царя Самарийского. И Ахав сказал Навуфею: — Отдай мне свой виноградник, я разведу там огород для зелени, потому что он близко от моего дома; за это я дам тебе еще лучший виноградник; или, если тебе так лучше понравится, заплачу тебе деньгами, сколько он стоит.

«И Навуфей сказал Ахаву: — Сохрани меня Бог, чтобы я отдал тебе наследие отцов моих.

«Ахав возвратился в свой дом недовольный и с тяжестью на душе, потому что Навуфей израильтянину сказал ему такое слово: «не дам тебе наследия отцов моих».

«И прочел он всю эту историю до конца; потом сложил книгу и сказал: — Друзья мои, есть у Навуфея виноградник и в здешней стране; а в нем есть много золота, и Ахав захотел взять его себе, дабы захватить и богатство в свои руки.

«И отложив в сторону старую книгу, он взял другую, писанную на сих днях. И бывшие в церкви мужчины и женщины стали шептать между собой: — Да ведь это **Синяя Книга**, или отчет избранного комитета от капского парламента, о набеге Джемсона?

«И бывший на кафедре сказал: — Друзья мои, первая история, прочтенная вам, — одна из самых древних в мире; та, которую теперь вам прочту, — одна из новейших. Но правда не становится лучше оттого, что ей три тысячи лет, и она не менее истинна оттого, что случилась вчера; всякая книга, проливающая свет истины, есть божественная книга, а потому прочту вам несколько страниц из этой новой книги. Что пользы нам узнавать истории Ахава, царя Самарийского, если мы не знаем того, что творят Ахавы наших дней; и неужели мы будем сидеть сложа руки, пока Навуфеев нашей страны будут побивать камнями?

«И стал он читать им некоторые места из той книги. Тогда иные из богатых людей со своими женами встали и вышли из церкви, пока он читал. Тогда же вслед за ними вышла и жена его.

«И когда кончилась церковная служба и этот человек воротился домой, жена встретила его слезами и сказала: «Видел ты, как некоторые из самых богатых и важных прихожан сегодня встали и ушли из церкви? Зачем ты произнес такую проповедь, когда нам только что обещали сделать новую пристройку к дому, и ты ожидал, что прибавят тебе жалованья? Ведь среди твоей паствы нет ни одного голландского крестьянина, для чего же ты говорил, что Привилегированная Компания поступила дурно, нападая на Иоганнесбург?»

«Он сказал: — Жена моя, как же я могу не говорить, когда твердо знаю, что некоторые люди, нами же обличенные высоким положением и властью, сделали подлость и великий вред?

«Она сказала: — Да, а вот недавно, пока Сесиль Родс еще готов был лизать ноги у голландских крестьян, чтобы они как-нибудь не догадались о том, что он собирался учинить над ними, ты же нападал и на Родса и на



Союз<sup>4</sup> за то, что они старались провести закон о праве сечения негров, а мы через это потеряли пятьдесят фунтов, которые пошли бы на церковь... — И он сказал ей:

«Жена, разве нельзя под открытым небом так же хорошо поклоняться Богу, как и в раззолоченных палатах? И неужели человек, видящий притеснения, должен молчать о них, дабы нажить денег для Бога? Если я защищал чернокожего, когда думал, что его обижают, как же не защитить белого, брата моего по плоти? Разве можно встать на защиту одного человека, а другого предоставить обидчикам?»

«Она же сказала: — Да, но ты обязан позаботиться о своей семье и о себе самом. Почему ты всегда восстаешь против тех людей, которые могли бы что-нибудь для нас сделать? Тебя любят только бедные. Коли тебе непременно нужно на кого-нибудь нападать, нападай бы на жидов, за то, что распяли Христа, или на Ирода, или на Понтийского Пилата; оставь в покое тех, кто нынче в силе и может раздавить тебя могуществом своих денег!

«И он сказал: — О, жена, те жида и Ирод, и Пилат Понтийский давно умерли! Если я теперь буду о них проповедовать, какая кому от того польза? Разве я этим спасу из их когтей хоть одну живую душу? Прошрое умерло, и лишь настолько живо, чтобы мы могли научиться из него. А настоящее, одно настоящее только и дано нам для деятельности, и будущее мы же подготавливаем. Разве все золото Иоганнесбурга или все кимбирлейские брильянты стоят того, чтобы хоть один христианин пал от руки своего ближнего, или хотя бы один язычник, ибо и он брат наш!

«Она же отвечала: — Да, хорошо тебе так говорить. Если бы ты был настоящий красноречивый проповедник и привлекал бы сотни людей, и со временем собрал бы вокруг себя сильную партию, и сам стал бы во главе ее, тогда мне было бы все равно, говори, что хочешь. Но при твоём малом росте и слабом голосе кто же пойдет за тобой? Скоро совсем один останешься; и больше ничего из этого не выйдет.

«И он сказал: — О, жена, я ли не ждал, не надеялся, что те, кто выше и сильнее меня, поднимут голос и станут говорить по всей стране, и я прислушивался, но повсюду мертвое безмолвие! То там, то сям, слышится иногда робкий голос, остальные же шепчутся между собою, и один говорит: «Моему сыну дали место, а он потеряет его, если я заговорю вслух», и другой говорит: «Мне обещали дать землю», а третий: «Я приятельски знаком с этими людьми, и если подниму голос против них, утрачу свое общественное положение»... О, жена, наша земля, наша благодатная страна, которую мы надеялись видеть свободной и могущественной среди земных народов, изъедена, источена тиранством золота! Мы надеялись своим правосудием и независимостью стать во главе англо-саксонского братства, а теперь видим, что недостойны стоять и последними в ряду. Разве я сам не знаю, разве не горько мне знать, как слаб мой голос и как

---

<sup>4</sup> **Африканский Союз**, организованная голландцами политическая партия, чрез которую действовал Родс; она же его и поддерживала.

мало я могу сделать? И все-таки я не буду молчать. Разве светящийся червячок не захочет светиться оттого, что ему не дано быть звездой и сиять в небесах? И разве переломленная палка не будет гореть и согревать иззябшая руки, хотя бы одного человека, из-за того, что ей не суждено быть сторожевым маяком, озаряющим целый край? И я слышу голос, нашептывающий мне: «Зачем ты бьешься головой о каменную стену? Предоставь это дело тем, кто больше и крупнее тебя; они исполнят его лучше, нежели ты можешь исполнить. К чему понапрасну мучиться, тогда как ты мог бы прекрасно устроить свою жизнь?» Но, о, жена моя! как же быть, когда большие и сильные молчат? И не должен ли я говорить, хоть и знаю, что моя власть ничтожна?

«И он положил свою голову на руки.

«Она же сказала: — Не могу я понять тебя. Когда я, приходя домой, говорю тебе, что тот человек напился пьян, а та женщина наделала беды, ты всякий раз замечаешь мне: «Жена, не наше дело разбирать чужие вины, раз мы не можем им помочь». Малейшая, невинная сплетня претит тебе, и ты водишься с такими людьми и ходишь в такие дома, в которые я бы не согласилась пойти. А когда самые богатые и влиятельные люди нашего края, которые с помощью своих денег могут тебя раздавить, как дитя давит муху между двух пальцев, — когда эти люди распоряжаются по-своему, ты восстаешь против них и открыто порицаешь их.

«Он сказал ей: — Жена, какое мне дело до грехов частного человека, раз я не сам навел его на грех? Виноват ли я в том? Довольно мне хлопот и со своими собственными грехами. Тот грех, которым грешит человек против себя самого, только до него и касается; и тот грех, что совершает он против ближнего, касается их обоих, а не меня; но когда грешит такой человек, которого сограждане вознесли над собою и поставили превыше всех, и облекли его своею властью, и дали ему в руки свой меч, дабы он разил им во имя их, тогда грехи этого человека падают на их головы; и ни один малейший гражданин этого народа не имеет права сказать: «Я не ответствен за дела этого человека! Мы его вознесли, мы вооружили, мы укрепили; стало быть и в том зле, которое он причиняет, мы виноваты, и даже больше, чем он сам. Если этот человек достигнет своей цели в Южной Африке; если настанет такой день, что от берегов Замбезе до самого моря все белые люди возгорятся враждою друг против друга, и с яростью станут драться между собою, так что земля оросится их кровью, как дождем, — как же я осмелюсь тогда молиться, если теперь не посмею говорить?.. Не думай, чтобы я призывал кару на этих людей. Пускай заберут все миллионы, что извлекли из нашей земли, и уедут к себе на родину и там живут в богатстве, роскоши и веселии; но пусть они покинут нашу страну, которую они измучили и разорили. Пускай возьмут себе все деньги, что здесь нажили; может быть, от этого мы станем беднее, но, по крайней мере, они не будут больше этими деньгами попираť нашу свободу. Каждое воскресенье прошу я Господа простереть покров Свой над нашей страной и объединить сердца всех детей

ее в один тесный союз; и когда вижу народ мой обманутым, и вижу, как золотым кулаком разбивают ему челюсти; вижу, что отнимают у нас нашу независимость и всю землю забирают в золотые когти, так что следующее поколение родится уже не свободным, и будет обязано работать на угнетателей, все забравших себе... как же я могу молчать? И бур<sup>5</sup> и англичанин, населившие эту страну, не всегда были милосердны, не всегда стремились к справедливости; но ни голландцы, ни англичане никогда так тяжело не давили первоначальных обитателей этой страны, как станут давить спекуляторы и монополисты, пожирающие нашу землю; и они одинаково будут тяготеть как над детьми чернокожих, так и над потомками белых.

«Она сказала: — Слыхала я, что мы обязаны жертвовать собою для людей, живущих в мире одновременно с нами, но не слыхивала, чтобы мы были должны жертвовать собою и для тех, кто еще не родился. Какое тебе дело до них? Ты будешь прахом и тебя зароят в могилу, прежде чем настанет их черед. Если ты веришь в Бога, — говорила она, — отчего ты не предоставишь Ему извлечь добро из всех этих зол? Разве Он повелел тебе стать мучеником? И разве мир пропадет без тебя?

«Он сказал: — Жена, если моя правая рука попадет в огонь, разве не постараюсь я выдернуть ее оттуда? Разве я скажу, что Бог из этого зла извлечет благо, и оставлю ее гореть? То неисповедимое, что существует вне нашего разума, мы познаем не иначе, как чрез свидетельство наших собственных сердец; и влияет оно на сынов человеческих не иначе, как чрез посредство таких же человеков. И неужели мне не чувствовать уз, связующих меня с будущими людьми, неужели не желать для них ни добра ни красоты, тогда как я стал таким, как есть, и познал те радости, которыми наслаждаюсь ныне, потому, что люди прошедшего, в течение бесконечного ряда веков, жили не для себя одних и не высчитывали барышей? Возможно ли было бы на свете осуществление великой статуи, великой поэмы, великой реформы, если бы люди все только высчитывали свои барыши и творили для себя лично? Ни один человек не живет только для себя, ни один и не умирает только для себя. И ты не можешь мне запретить любить тех, которые будут жить после меня, потому что во мне есть какой-то тихий голос, который все время взывает ко мне: «Живи для них, как для родных детей твоих!» И когда в моей маленькой, незначительной жизни все темно, и я прихожу в отчаяние каждый раз, как вспомню, что на том месте, где я стою, может возникнуть нечто более возвышенное и прекрасное, в моей душе возгорается надежда!..

«Она сказала: — Ты хочешь все и всех восстановить против нас! Теперь другие женщины не станут ходить ко мне, и в церковь нашу будут приходить одни лишь бедные люди. Деньга деньгу манит. Если бы твой приход состоял из одних голландцев, ты бы, наверное, твердил им, что надо любить англичан и поласковее обходиться с неграми. А если бы у тебя были одни кафры, ты бы им проповедовал, что надо во всем помогать белым. И

---

<sup>5</sup> **Бурами** зовут голландских поселенцев Южной Африки.

никогда ты не станешь на сторону тех, кто может быть нам полезен! Сам знаешь, что нам предлагали...

«Но он сказал ей: — О, жена, что мне до буров, что до русских или турок! Разве я отвечаю за дела их? Только мои собственные, кровные единоплеменники могут так глубоко задевать меня за живое, потому что я люблю их, как человек может любить только душу свою. Мне хотелось бы, чтобы всюду, где водружен наш флаг, вокруг него могли собираться слабые и угнетенные, говоря: «Под этим знаменем ютятся свобода и справедливость, не ведающие различия племен и окраски». Хотел бы я, чтобы на нашем знамени крупными буквами сияли слова: **«Правда и милость»**; чтобы во всякой новой стране, в которую мы вступаем, каждый сын нашего народа видел вечно над собою это знамя и под ним великий завет: **«Сим побеждай!..»** И чтобы тот разбойничий флаг, который иные ставят на его место, был сорван и уничтожен навсегда! Как я могу одобрять иные действия только потому, что их совершили мои единоплеменники, тогда как я же осудил бы их, если бы то же сделали бушмены или готтентоты? Разве хорошо, что люди, принадлежащее к одному из самых могущественных земных племен, ложатся на землю и украдкой подползают к доверчивому соседу, чтобы напасть на него врасплох, тогда как сами кафры, собираясь воевать, неоднократно шлют сказать неприятелю: «Готовьтесь, ибо в такой-то день мы придем и сразимся с вами!» Разве так уж ослабела Англия и так истощились наши силы, что мы не дерзаем открыто объявлять войну, но вместо того крадемся ползком, чтобы явиться в темноте и поразить из-за угла, как делают побежденные рабы, которым нет иного исхода? Эти люди пришли из Англии, но они не англичане. Ибо, если люди нашего племени вступают в борьбу, они открыто ведут войну, впереди их развеваются знамя и громко звучат боевые трубы. Оттого все это так и удручает меня, что я сам англичанин. Лучше бы десять тысяч нашего народа полегло в честном бою за правое дело, и мои родные сыновья пали в том числе, чем знать, что те бедные двенадцать юношей погибли при Дорнкопе, сражаясь ради того, чтобы набить карманы некоторых людей, и без того по горло зарывшихся в золоте!

И она сказала: — Э, что за дело до того, что «ты» говоришь или думаешь; «ты» все равно никогда ничего не добьешься!

«Он же отвечал ей: — О, жена, поддержи меня, не наваливай на мои плечи лишней тяжести! Ибо в этом деле нет для меня иного пути, кроме того, на который падает свет небесный.

«Она сказала: — Вот какой ты недобрый: тебе и дела нет до того, что люди будут говорить про нас! — и заплакала горько, и пошла вон из комнаты. Но когда вышла и затворила дверь за собою, осушила слезы и сказала себе: «Ну, теперь он больше не станет произносить таких проповедей. Он не смеет перечить мне, раз я ему высказала свою волю».

«И проповедник ни с кем не обменялся ни словом и пошел один гулять в поле. Целый день ходил он взад и вперед по песчаной почве среди кустов, и я ходил с ним рядом.

«И когда настал вечер, он пошел опять в свою церковь. Многие не пришли, но старшины сидели на своих местах; пришла и жена его. Вечернее солнце освещало пустые скамьи. И когда настало время, он раскрыл Ветхий Завет евреев и, перевернув страницы, начал читать: «Если ты медлишь освободить тех, кого влекут на смерть, и кого хотят умертвить, а потом скажешь: «Ведь я этого не знал!» Разве Тот, Кто знает твое сердце, не увидит этого? И Тот, Кто охраняет твою душу, разве не узнает?!

«И сказал он: — Сегодня поутру мы рассматривали зло, причиняемое этой стране людьми, жаждущими лишь богатства и власти. Теперь внимем в то, насколько велико собственное наше участие в этом деле. Я думаю, что мы принуждены будем убедиться, что на нас самих, а не на тех, кого мы над собою поставили, падает главнейшая ответственность. — Тут жена его встала и пошла из церкви, а за нею последовали все остальные. И голос маленького человека гремел среди опустевших скамеек, но он продолжал свою речь.

«Когда кончилась служба, он вышел на улицу; на паперти уж никого не было, ни один старшина не подошел к нему поклониться и побеседовать; но пока он стоял у двери, какой-то прохожий — он его не рассмотрел — сунул ему в руки листок бумаги. На листке было написано карандашом, и при свете фонаря он прочел написанное. Потом смял и стиснул бумагу в кулаке, как стискивает человек ту гадину, которая уязвила его смертельным ядом, и швырнул ее о землю, как швыряют то, о чем лучше позабыть. Шел частый, холодный дождь, и он шел улице, заложив руки за спину, поникнув головой. Другие шли по другой стороне улицы, и ему казалось, что он совсем одинок на свете, но я шел за ним.

— Ну, а теперь, — сказал Петр, видя, что странник замолчал, — что же с ним случилось после этого?

— Это и случилось-то всего в прошлое воскресенье, — сказал странник. Еще несколько секунд прошло в молчании. Потом Петр сказал:

— Ну, как бы то ни было, этот не умер, по крайней мере.

Странник скрестил руки на коленях.

— Петр-Симон Холькет, — сказал он, — человеку легче умирать, чем остаться одиноким. А если кто может твердо переносить одиночество, тот при случае сумеет и умереть.

Петр устремил глаза на лицо странника.

— Мне бы не хотелось умирать, — сказал он, — по крайности не теперь. Мне еще не исполнилось двадцати одного года. Хотелось бы сначала пожить.

Странник ничего не ответил.

И Петр сказал:



— Разве в вашей компании одни только бедные люди? Странник, немного помолчав, прежде чем ответить, сказал:

— Бывало, что и богатые люди желали присоединиться к нам. Был однажды такой юноша, но, узнав, на каких условиях к нам поступают, он опечалился и ушел, потому что обладал большими имениями.

Опять некоторое время прошло в молчании.

— Давно ли учредилась ваша компания? — спросил Петр.

— Так давно, что ни один из живущих не может этого проследить, — сказал странник. — Даже здесь, на земле, это началось в те времена, когда эти холмы были молоды, и тот лишайник еще не пестрил своими пятнами здешних скал, а человек с трудом поднимался на ноги, потому что мышцы его бедр еще не окрепли. В те дни, для людей незапамятные, когда человек был голоден, питался мясом себе подобного и находил его вкусным. Но даже и в те отдаленные дни случилось, что среди одного из племен была женщина, головой выше своих соотчичей и умом острее их; однажды, ощиная мясо с человеческого черепа, она задумалась. На другой день под вечер, когда все собирались вокруг огня ужинать и некоторые пошли к дереву, у которого был привязан человек, обреченный на заклятие, они его не нашли там. И тотчас стали кричать: «Это она, наверное она это сделала, потому что одна она всегда говорила: не нравится мне вкус человеческого мяса; люди слишком на меня похожи, я не могу есть их! Да она с ума сошла, — кричали они, — убьем ее!» И вот, в незапамятные времена, столь отдаленные, что людям и поверить трудно, эту женщину умертвили. Но с той поры новая мысль запала в голову людям и укоренилась там; они сказали: «Мы тоже не будем есть ее. Не хорошо вкушать человеческое мясо». И с того времени каждый раз, как варилось мясо человека, эти люди отделялись от остальных, и одна часть племени ела человеческое мясо, а другая нет. А с течением времени и все перестали есть его.

«И вот, даже в те дни, о которых нынешние люди ничего не знают, на свете были уже члены нашей компании, и, если хочешь, поведаю тебе тайну; прежде чем появился человек на земле, в те дни, когда дицинодонт<sup>6</sup> любовно склонялся над своим детенышем и жил морской конь, который давно исчез с лица земли и только отпечатки костей его уцелели в камнях, а тогда он нежно взывал к своей подруге; и птицы, тоже исчезнувшие из числа живущих и оставившие лишь следы своих лап на утесах, тогда радостно летали на солнце и громко перекликались с себе подобными; даже и в те дни, когда человека совсем не было в мире, над землею занялась заря нашего царствия. И сколько с тех пор ни вставало и ни закатывалось солнце, и сколько ни свершали планеты определенные пути свои, мы все растем и умножаемся!

Странник поднялся из-за костра и встал во весь рост. И за ним и вокруг него царил непроглядная тьма.

---

<sup>6</sup> Допотопный зверь.

— Вся земля принадлежит нам. И придет тот день, когда звезды небесные, взирая с высоты на этот малый мир, не увидят ни одного местечка на земле, где почва была бы запятнана и смочена кровью человека, пролитую от руки его ближнего; солнце встанет на востоке и закатится на западе, пролив свет свой через весь земной шар; и нигде оно не увидит, чтобы один человек притеснял другого. Из всех мечей своих понаделают они плугов, а копья превратят в садовые ножи; народы перестанут поднимать мечи друг против друга, и нигде не будет больше войны. И на месте терновника возрастут сосны и пихты, а вместо колючек расцветут миртовые деревья; и нигде на всем священном пространстве земли не будут люди угнетать друг друга!.. Поутру взойдет солнце, — продолжал странник, — и обдаст светом эти темные холмы, в лучах его засверкают каменистые утесы. Но так же верно, как то, что взойдет оно завтра, наступит и тот день, о котором говорю тебе. И даже здесь, где мы теперь стоим, и в окрестной стране, где ныне раздаются стоны раненых и мстительные клятвы; даже здесь, где человек подползает втихомолку к своему ближнему, чтобы предательски ударить его в темноте; здесь, где одна десятая золотоносной земли стоит целой тысячи душ человеческих, а из-за пригорка алмазной грязи погибает половина человеческого племени, и коршуны пресыщены человеческими трупами, — даже здесь тот день настанет. Говорю тебе, Петр-Симон Холькет, что на том месте, где мы стоим с тобою, будет воздвигнут храм. И, собираясь в нем, люди будут поклоняться не тому, что поселяет рознь между ними, но будут стоять плечом к плечу белый человек рядом с чернокожим и чужестранец рядом с туземцем; и это место будет священо, ибо люди станут говорить тогда: «Не все ли мы братья и дети одного общего Отца?»

Петр Холькет безмолвно взглянул вверх, на небо.

И странник сказал:

— В некоторой равнине спали люди, а ночь была темная и холодная. И пока они спали, в тот час, когда ночь всего темнее, один из них проснулся. Полузакрытыми глазами, сквозь ресницы, увидел он далеко впереди, над вершинами холмов, чуть заметную полосу света, толщиной не более, как в один волосок. И в темноте шепнул он своим товарищам: «Заря занимается». Но они, не раскрывая глаз, роптали: «Он лжет, никакой зари нет» И однако ж солнце взошло.

Странник замолчал. Огонь горел ровным, красным пламенем, не трещал и не колебался, а прямо стремился вверх в тихом ночном воздухе. Петр Холькет подполз ближе к страннику.

— Когда же это сбудется? — прошептал он. — Разве через тысячу лет.

И странник отвечал:

— Тысяча лет — все равно, что наш вчерашний переход или наше нынешнее ночное бдение, которое уже приходит к концу. Взгляни на эти нагроможденные камни под нашими ногами. Сколько веков прошло над ними с тех пор, как они были юны, и теперь состарились, лежа все на том же

месте. Не пройдет и половины этого времени, как настанет уже тот день; я видел, как его заря занимается в сердцах людей.

Петр подполз еще ближе, так что стоял на коленях почти у ног странника, а ружье валялось на земле по ту сторону костра.

— Мне бы хотелось быть одним из ваших, — сказал он: — прискучило мне служить Привилегированной Компании.

Странник кротко смотрел на него сверху вниз.

— Петр-Симон Холькет, — сказал он, — под силу ли тебе будет нести эту ношу?

И сказал Петр:

— Задай мне работу, чтобы испытать мои силы.

Некоторое время длилось молчание, потом странник сказал:

— Петр-Симон Холькет, ступай с поручением в Англию (Петр Холькет встрепнулся). Иди к этому великому народу и скажи ему во всеуслышание: «Где тот меч, что мы вручили тебе, дабы ты чинил правосудие и оказывал милосердие? Как могло случиться, что ты его передал в руки тех, кто ищет лишь золота и жаждет богатства, а душой и телом людей распоряжается, как шашками в праздной игре? Как могло случиться, что целый народ, порученный тебе, предал ты в руки спекуляторов и игроков, как будто это не люди, а бессловесный скот, подлежащий купле и продаже?

Возьми назад свой меч, великий народ, но сначала оботри его, дабы к твоим рукам не пристали пятна от золота и крови.

Но что я вижу? Неужели это меч великого народа сверлит золотиносную почву, ища в ней золота, как свиньи роются рылами в земле, ища земляных орехов. Неужели твоему мечу нет иного употребления, великий народ?

Отбери назад свой меч; и когда оботрешь его, отчистишь от крови и грязи, тогда подними его на защиту плененных и угнетаемых в чужих странах.

Дщерь великого государя, берегись! Ты вложила меч свой в руки бесчестных оруженосцев: они притупят его лезвие, помрачат его блеск, и, когда настанет для тебя час опасности и ты захочешь передать его в другие руки, увидишь, что острие зазубрено и оконечность сломана. Берегись! Берегись!»

Обратись и к мудрым людям Англии, скажи им: «Вы, которые в спокойной тени уединенных комнат подвергаете рассмотрению все, что есть на небе и на земле, изучаете все, что возможно познавать, разве вам недосуг подумать об этом? Кому поручила Англия свою власть? Как этою властью пользуются люди, сумевшие ее добиться? Не вздумайте отвечать, что вам недосуг и дела нет до того, что творится за морями, что вам довольно хлопот и с тем, что делается вокруг вас на родине. Если мыслителям данного народа некогда думать о данной стране, то не следует посылать туда и рабочие руки, ибо куда распространяется власть народа,

туда же должно направить и его разум и знания, чтобы они руководили властью.

О, вы, которые спокойно сидите дома, изучаете прошедшее и будущее, позабывая о настоящем, какое право имеете вы сидеть спокойно, ничего не ведая о том, как действуют силы, вами вооруженные и направленные на население отдаленного края? Где меч вашего народа, мыслители и мудрецы?»

Взывай и к женщинам Англии: «Вы, мирно живущие в великолепных чертогах, окруженные своими детьми, вы слышите эти звуки? Не думайте, что это лишь шелест мягких занавесок или ветер свистит в оконные щели. Нет! быть может, это отдаленные вопли людей, стонущих под мечом тех, кого вы послали управлять ими, и эти стоны летят к вам через обширные пространства океанов и проникают в самые заветные святилища вашей частной жизни. Не так ли это? Прислушайтесь! Ибо женская половина могущественного народа выполнила не все свои обязанности, если она только народила ему детей и вскормила их своею грудью: к ней же вопиют и дальние младенческие племена, и крики их летят чрез обширные материки и чрез широкие моря, взывая: «Материнское сердце, вступишь за нас!» И лучше бы ваши утробы оставались бесплодными и вымерли бы ваши породы, чем если бы вы слышали эти вопли и не отзывались на них!»

Так говоря, странник воздел обе руки кверху, и Петр увидел на обеих следы застарелых ран.

— Кричи во всеуслышание и рабочему сословию Англии: «Вы, которые столько веков стонали под бременем труда, наваленного на ваши плечи произволом ваших хозяев, не вы ли осыпали проклятиями королей за то, что они живут в довольстве и спокойствии, не заботясь о тяготах своего народа, лишь бы их казна наполнялась исправно и лишь бы они могли предаваться чревоугодию, не желая пещись о делах управления; не вы ли отняли у своего короля право распоряжаться вами и взяли бразды правления в свои руки? Зато его грех теперь падет на вашу голову! Если бы кто вздумал хоть на один час удлинить ваш рабочий день или на самую малость увеличить цену хлеба, которым вы питаетесь, не вы ли восстали бы поголовно, как один человек? А между тем, вас нисколько не трогает то, что делают за морем с людьми, которыми вы управляете. И не вы ли сами говорили, в подражание некоторым царям древности: «Нам все равно, кто орудует нашим мечом, будь то грабитель или спекулятор, лишь бы знать, что этот меч нам принадлежит, надо прикрыть причиненное им зло!» Но разве одни лишь ваши проклятия восходят к небесам? Где ваш меч? В чьи руки попал он? Хватайте его скорее и отчищайте хорошенько!»

Петр Холькет припал к земле, глядя вверх на странника, и воскликнул:

— Господи! Не могу я исполнить такого поручения: где мне бедному, неученому человеку! Если бы и поехал я в Англию и стал кричать, они сказали бы: «Это кто такой, что вздумал читать поучения великому народу? Известно, кто его мать, она прачка! А отец его был батрак и работал в поле,

получая по два шиллинга в день платы»; и стали бы насмехаться надо мной. Притом, то, что ты велел им сказать, так длинно, что я не упомяну. Вели мне сделать что-нибудь другое.

— Так прими поручение к людям, населяющим здешний край. Пройди от берегов Замбезе к морю и взывай к мужчинам и женщинам белого племени, говоря: «Я видел пространное поле и на нем паслись два красивых зверя. Широко раскинулись вокруг них привольные луга, густо росли благовонные цветущие травы, и так роскошно было пастбище, что едва ли им под силу было съесть все, что росло кругом; и те звери были очень похожи друг на друга, ибо они были дети одной матери. И увидел я вдали, в северной стороне небосклона, небольшое черное пятно, но столь малое, и столь высоко над землею, что едва можно было различить его глазами. Оно все приближалось и постепенно стало кружиться над тем местом, где паслись звери: у него была длинная голая шея, крючковатый клюв, длинные голени и сильные крылья. И он все кружился над местом, где паслись звери, и я видел, как он сел на большой белый камень и чего-то поджидал. Потом увидел я еще такие же пятна с севера, и много их собралось, и все слетались к тому, который уж сидел на камне. Из них одни стали кружиться над зверями, другие точили свои клювы о камни, третьи ходили по земле, стараясь проскользнуть между ног пасущихся зверей. И я видел, что они чего-то ждут.

Тогда тот, что прилетел прежде всех, начал налетать то на одного зверя, то на другого, садился им на шею, запускал клюв в их уши. И летая с одного на другого, до тех пор хлопал крыльями им в глаза, пока оба не ослепли и, думая, что его товарищ нападает на него, каждый из зверей рассвирепел. И стали они драться и бодать друг друга рогами, изодрали один другому бока; и трава окрасилась их кровью, а земля дрожала от их топота. Птицы сидели смирно и смотрели на борьбу; и когда потекла кровь, они стали ходить кругом. Когда же силы обоих зверей истощились, они упали на землю. Тогда птицы надели на них и принялись их клевать, и набили свои зобы, а длинные их голые шеи стали влажны; и, стоя на телах издохших животных, они глубоко погружали свои клювы их внутренности и затем, поднимая головы, глядели вокруг своими пронзительными, блестящими глазами. И тот, кто был царь между ними, выклевал глаза мертвых зверей и сожрал их сердца. И когда наполнился зоб его, так что он не мог больше есть, он сел на камень и хлопал своими большими крыльями.

Петр-Симон Холькет, взывай к белым жителям Южной Африки, скажи им: «Вы живете в благодатной стране: вы и дети ваши не в силах ее наполнить; и хотя бы вы с распростертыми объятьями встречали каждого гостя и нового поселенца, приходящего жить и работать с вами, не тесно вам будет на этой земле. Вы — ветви одного дерева, дети одной матери. Неужели эта благодатная страна довольно для вас обширна, что вы кидаетесь друг на друга и взаимно раздираете свои тела по воле тех, кто



хочет запустить свой клюв в ваши внутренности и питаться вашей кровью?.. Оглянитесь, видите ли, как они начинают виться над вашими головами?..

Петр Холькет вздрогнул и опасливо взглянул вверх; но над его головой простиралось лишь темное небо Машонской области.

Странник стоял молча у костра, вперив взор в огонь. Петр Холькет почти обвил руками его колени.

— Господи! — воскликнул он, — как же я могу исполнить такое поручение? Голландцы Южной Африки не захотят меня слушать, скажут, что я англичанин. А англичане скажут: «Это что за человек, вздумавший проповедовать нам мир, мир, один мир? Он и года не прожил в нашей стране и не нажил ни одного пая ни в какой компании. Стоит ли слушать его после этого? Будь он хоть сколько-нибудь толковый человек, он успел бы сколотить себе хоть пять тысяч фунтов». И не станут меня слушать. Задай мне другую работу!

И сказал ему странник:

— Так иди и выполни поручение к одному человеку. Отыщи его, и где бы ни застал, во сне или бодрствующим, едящим или пьющим, стань перед ним и скажи: «Где души людей, купленных тобою?».

И если он ответит тебе: «Я не покупал душ человеческих, а те, которых я купил, были скоты, собачьи души!» — тогда ты спроси у него, скажи: «А где же?..»

И он закричит, перебивая тебя: «Ты лжешь! Ты лжешь! Я знаю, что ты хочешь сказать! Почему я знаю, куда девались уполномоченные? Я никогда не боялся английского правительства! Все это клевета!» — Тогда не спрашивай его больше ни о чем, а только скажи ему: «Однажды зажгли лучину; она трещала, пылала, роняла искры, выгорела до конца и погасла; и никто не обратил на это внимания, потому что это была не более, как простая лучина.

Потом зажгли иной светоч: люди вознесли его на высоту маячной башни, чтобы светил на далекое пространство всем людям, плавающим по морю, и чтобы, завидя его ровный свет, мореходы могли найти путь в гавань и избежать подводных камней.

И стал тот светоч также вспыхивать и меркнуть по своему произволу; пламя его развевалось то в одну сторону, то в другую; горело то синим огнем, то зеленым, то красным; то исчезало, то появлялось снова. А мореходы издали вперяли взоры в то место, где знали, что следует быть маяку, и говорили: «Нечего бояться; великий светоч предупредит нас, если подойдем слишком близко к подводным скалам». И в темные ночи правили свои корабли все ближе и ближе, и в полночной тишине ударились о камни, на которых утвержден был маяк, и погибли у его подножия.

Что же сделать с этим светочем, который был не простая горящая лучина, а вознесен людьми на великую высоту, и люди доверяли ему? Не лучше ли погасить его?

И если он ответит, говоря: «Что мне за дело до людей? Они глупцы, все глупцы! И пускай умирают!» тогда расскажи ему вот что: «Был на свете ручеек: выбегал он из-под снегов, венчавших высокую гору, и снег образовал над ним пещерный свод. И были воды его чисты, прозрачны и лазурны, как небо, отражавшееся в нем, и снеговые сугробы служили ему колыбелью. И добежал он до такого места, где кончался снег; и открылись перед ним два пути, по которым мог он следовать дальше: один путь лежал вдоль горного хребта, среди утесов и скал, через обширные пространства обдаваемых солнцем горных склонов, вплоть до моря. Другой путь был обрыв в бездну.

И ручей колебался, вертелся, журчал, извивался то туда, то сюда. **Могло случиться**, что он пробился бы мимо скал и утесов, вдоль горного хребта, и сам образовал бы себе русло по склонам, где никто не пролагал следов. И берега его обросли бы зеленой муравой, запестрели горными цветами; и всю ночь звезды смотрелись бы в его чистые воды, а днем на горных склонах играли бы в нем солнечные лучи; и в древесных ветвях над ним свили бы себе гнезда лесные горлицы, и, звонко распевая свою неумолчную песню, пробрался бы он, наконец, к великому морю, отдаленный призыв которого все воды на земле слышать.

Но он колебался. Могло быть, что случилась бы тут чья-нибудь рука, чтобы своротить с его пути единый камень, и тогда он пробился бы мимо скал и утесов и нашел бы дорогу к великому морю... Могло случиться! Но не было такой руки. Ручеек собрался с силами и, быть может, торопясь как можно скорее броситься в море, одним скачком устремился в бездну.

Скалы сомкнулись над ним. И он лежал на дне темной, тихой пучины, в девятьсот сажен глубиной. Зеленый лишайник свешивался с утесов; солнце не проникало туда, и звезды не могли глядеться в воду по ночам. Тихо и неподвижно лежал ручей. Но так как он все-таки был живой и не мог оставаться в одном положении, то накопил воды и, собравшись с силами, начал постепенно просачиваться наружу сквозь каменные обломки и земляные обвалы, и пробрался в глубокую лощину. Горы обступили его со всех сторон. И ручей, засмеявшись, сказал себе: «Ха-ха! Я здесь образую большое озеро; сам буду как море!» И продолжал сочиться, пробиваться и наполнил дно лощины; но озера не вышло из этого, а только обширное болото, потому что не было протока из лощины и вода стала гнить. Трава завяла и вымерла по его окраинам; деревья лишились листвы и загнили в воде; и лесная горлица, свившая себе гнездо в ветвях тех деревьев, улетела в горы, потому что ее птенцы умерли. Жабы, сидя на камнях, роняли в воду свои нечистоты, а камыши пожелтели и поблекли вдоль берегов. По ночам над всем болотом поднимался тяжелый белый туман, так что звезды не могли смотреться в воду, а днем над ней стоял тонкий белый пар, и солнечные лучи не могли туда проникнуть и не играли в воде. И никто не знал, что когда-то воды этого болота были лазурны и чисты, выбегая из-под снежного свода на вершине горы; и что стоило лишь своротить с пути его один камень, и он был бы резвым горным потоком и свободно протекал бы

по склонам все дальше и дальше, распевая свою неумолчную песню, пока ее звуки не смешались бы навеки с песнью великого моря.

Странник некоторое время помолчал, потом начал опять:

— И если он скажет тебе: «Какое мне дело! Горные выси и снеговые своды мне ни к чему. Мне нужно золота, и я хочу власти, чтобы сокрушать людей под рукой своей», тогда не говори ему больше ничего.

Но если, паче чаяния, он прислушается к твоему голосу, подойди к нему близко и скажи внятно на ухо, так, чтобы он наверное расслышал каждое слово:

«Бывает с утра пасмурно, и целый день сумрачен и грозен, но перед закатом проглянет солнце и озарит мир таким дивным великолепием, что заставит позабыть и о пасмурном утре, и о сумраке полуденных часов. И будут люди говорить: «Вот был чудный день!..» Для горного потока, упавшего с высот, нет более возврата. **Но для человеческой души никогда не поздно».**

И если он рассмеется и скажет тебе: «Глупый человек! До двадцатилетнего возраста человека можно переделать совсем заново; до тридцати он многое может в себе изменить; но после сорока дело кончено. И неужели я, сорок три года стремившийся к богатству и власти, стану теперь желать чего-либо иного?.. Ты, кажется, хочешь превратить меня в Иисуса Христа! Как же я могу быть самим собою и другим человеком?» Тогда скажи ему: «В глубине сердца каждого сына человеческого кроется ангел; но у иных крылья сложены. Разбуди своего! Он и больше и сильнее, чем у многих других людей: на его крыльях и поднимись!»

Но если он будет проклинать тебя и скажет: «У меня есть восемь миллионов денег, и я не боюсь ни Бога ни людей!» тогда ничего не говори, но, склонившись перед ним, напиши вот так.

Странник наклонился и на побелевшей золе костра написал пальцем слова. Петр Холькет подался вперед и увидел, что странник начертал только два слова.

И сказал странник:

— Скажи ему так: «Хотя бы ты старался обессмертить в здешнем краю это имя и повелел бы начертать его золотым песком, обделать в брильянты и скрепить человеческою кровью, проливаемой от реки Замбезе вплоть до моря, и все-таки»...

Тут странник провел стопой поперек написанных слов; Петр Холькет взглянул и увидел, что на месте начертанного имени остался лишь гладкий слой перегоревшего белого пепла. И сказал странник:

— Если же опять станет ругать тебя, говоря: «Во всей Южной Африке не найдется ни мужчины ни женщины, которых я не мог бы купить; когда овладею Трансваалем, то куплю и Самого Господа Бога, если мне вздумается!» — Тогда скажи ему только: «**Пропадай** же со своими деньгами!» — и уходи прочь.

Некоторое время продолжалось полное молчание. Потом странник простер руку и сказал:

— Но, уходя, помни, что не деяние, а помыслы оставляют свою печать на душе человека. Тот, кто поработил целый народ, не более согрешил, чем тот, кто радуется предсмертным мучениям низайшего из созданий. Стоячая лужа не менее ядовита каждой своей каплей, чем обширное болото, хотя она гораздо мельче его. Тот, кто желал быть тем, чем стал этот человек и стремился совершить то, что он совершил, сравнился с ним, хотя бы не сумел достигнуть того же. И еще одно помни: по временам рождаются среди людей сыны Божии, которых люди зовут гениями. В ранней юности каждый из них стоит на распутьи и должен избрать один из путей: употребить ли свои дарования для других или только для себя самого. Но каков бы ни был избранный им путь, не забывай никогда, что на плечах он несет такую тяжкую ношу, какой не бывает у других людей; весь мир открыт ему, и выбирать он может без конца; если же он оступится и упадет под тяжестью своего бремени, приличнее людям плакать, чем хулить его, ибо он рожден сыном Божиим.

Снова настало молчание. Петр Холькет обнял колени странника и сказал:

— Господи! не дерзну я исполнить такого поручения! И не потому, что люди скажут: «Вот рядовой Петр Холькет, которого все мы знаем, человек, который и женщин имел и негров расстреливал, и вдруг объявился пророком», но не потому я не могу, что это станут говорить, а потому, что это истинная правда. Разве я не хотел...

И Петр Холькет собирался всю свою душу выложить, но странник остановил его.

— Петр-Симон Холькет, — сказал он, — когда раздастся трубный звук, призывающий на бой, что важнее: то ли, что труба сделана из листовой жести или из золоченого серебра, или то, что она издает призыв? Что за беда, если я дам то же поручение женщине или ребенку; разве истина станет менее истинна оттого, что носителем ее будет существо презираемое? Что остается вовек: те ли уста, которые говорят, или произнесенное ими слово? Но, тем не менее, если тебе так хочется, пускай будет по-твоему; иди и говори: «Я, Петр Холькет, из всех вас самый грешный, питавший вождение и к женщинам, и к золоту, любивший лишь себя и ненавидевший ближнего, я...»

Странник посмотрел на него сверху вниз и нежно возложил руку на его голову.

— Петр-Симон Холькет, — сказал он, — задаю тебе труд еще более тяжкий, нежели все те, что возлагал на тебя до сих пор. В том малом пространстве на земле, где ты можешь действовать по собственной воле, с этого самого часа осуществи царствие Божие. Люби врагов своих, твори благо ненавидящим тебя. Иди всегда прямым путем, не оглядываясь ни

направо ни налево. Не обращай внимания на то, что будут говорить про тебя. Помогай угнетенным, выпускай на волю пленных. Если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, дай ему напиться.

Петр Холькет стоял на коленях, и дивное ощущение тепла и радости охватило его с головы до ног точно в детстве, когда мать, бывало, возьмет его к себе на руки. Он ничего не видел вокруг, исключая мягкого, яркого сияния. Из недр этого света послышался ему голос, говоривший: «За то, что ты возлюбил милосердие и возненавидел угнетение...»

Когда рядовой Петр Холькет поднялся с места, он увидел, что странник уходит от него, и закричал ему: «Господи, возьми меня с Собою!» Но странник не обернулся, и по мере того, как удалялся Он, Петру Холькету показалось, что фигура Его растет; и когда Он сошел с холма, Холькету почудилось, что еще раз мелькнула голова странника, окруженная бледным сиянием... потом все пропало.

И рядовой Петр Холькет сидел одиноко на вершине холма.

## II

Был жаркий день. Солнце обдавало горячими лучами разбросанные деревья, малорослые кусты, высокие травы и высохшее речное русло. Высоко в небесной лазури, так высоко, что едва можно было различать простым глазом, стоя коршунов направлялась с севера на юг, где на протяжении сорока миль разорены были все краали и до двухсот черных трупов валялось на солнце.

Под навесом высоких жидких деревьев среди травы и приземистого кустарника, на берегу почти совершенно пересохшей речки расположился маленький лагерь.

Отряд растерял своих мулов и в ожидании, пока они отыщутся, уже семь дней стоял на этом месте. Три вьючные телеги, нагруженные провиантом, который они везли в главный лагерь, были сдвинуты под деревья и накрыты парусом, образовавшим род навеса для людей. На другом конце расчищенного пространства, отведенного под лагерь, на воткнутых в землю шестах перекинут был другой парус, представлявший подобие палатки; а влево оттуда, немного поодаль от прочих и отделяясь от остального лагеря группой низких кустов, стояла под высоким деревом настоящая капитанская палатка колокольной формы. Перед этою палаткой было приземистое дерево с обломанной верхушкой; его толстый белый ствол был искривлен и усеян наростами, а две единственные ветви, узловатые и короткие были распростерты врозь, наподобие рук. Перед этим деревом беспрерывно ходил взад и вперед человек с ружьем на плече, понунив голову и вперив глаза в землю; он шагал, а горячее солнце напекало ему плечи и спину.



В различных пунктах лагеря были разведены три или четыре костра; на трех варился рис с кукурузой, составлявшие довольствие людей с тех пор, как истощились запасы сушеного мяса; у четвертого костра туземный мальчик наблюдал за более аппетитным варевом, приготавливавшимся для капитана.

Большая часть людей была в отлучке. Чернокожих погонщиков услали за мулами, которых нашли пасущимися в горах за несколько миль от лагеря; ожидали, что они воротятся к вечеру и приведут их; а белые взяли ружья и разошлись в разные стороны поискать какой-нибудь дичи, в подспорье к надоевшей всем кукурузе и поразведать, что делается в окрестностях. Впрочем, на тридцать миль кругом все туземные поселки были уничтожены, и на этом пространстве оставалось так же мало негров, как волос на руке младенца; казалось, будто и диких животных больше нет в этой области.

В тени шатра, образовавшегося из холста, переброшенного через шесты, лежали трое людей, которым поручено было стеречь лагерь и приглядывать за варевом в котлах. Все трое были англичане из колонии и лежали ничком на земле, проводя время в неопределенных разговорах или же медленно и осторожно покуривая свои трубочки, потому что табак становился в лагере большою редкостью.

Под кустами, в нескольких шагах от них, лежал рослый рядовой, национальность которого трудно было определить; полагали, что он родом откуда-то с британских островов и путешествовал вокруг света. Был слух, что он отбыл три года каторги за покушение на грабеж в Австралии; но наверное никто ничего о нем не знал. Он половину минувшей ночи провел на часах и теперь отдыхал, лежа на спине и положив руку поперек лица; но челюсти его все время слегка шевелились, и он медленно жевал комок табаку; когда он перекладывал жвачку с одной щеки на другую, рот его открывался и видны были два ряда поломанных желтых зубов, вставленных в ярко-красные десны.

Трое колониальных англичан не обращали на него внимания. Из них двое, кутившие трубки, были рослые люди того тяжеловесного типа с несколько вялыми плечами, который часто встречается среди европейских колонистов в третьем поколении, все равно, голландского или английского происхождения; они отличались также и тем добродушным спокойствием и медлительностью, которые общи всем европейским колонистам, выросшим вне влияния больших городов. Третий был пониже ростом, более сухощав, мускулистого и нервного типа, с орлиным носом, угловатыми чертами и недовольным выражением лица. Он держал речь, а собеседники его курили и слушали.

— Вот я и говорю, — рассуждал он, ударив рукой по красному песку, — нам дают под вечер по полчайной ложке водки, а у него позади палатки валяется десять пустых шампанских бутылок. Мы питаемся той кукурузой, которую везем на корм лошадям, а у него всякий день пироги да говядина, и живет он словно лорд! Это все хорошо для регулярных: им что! Они знают,

зачем пришли, и, как бы то ни было, начальниками над ними поставлены настоящие джентльмены: мало ли что можно переносить, если знаешь, что управляют тобою порядочные люди. Английские офицеры — джентльмены; если бы, например, поставили над нами Селеса...

— О! Селес молодец! — разом воскликнули оба остальных собеседника, вынув трубки изо рта.

— Ну да, и я тоже говорю. Но эти господа, которые и сельского хозяйства не смыслят, и для торговли не годятся, и Бог ведает на что пригодны, и в Англии надоели своим родным, так что их высылают сюда и сразу садят нам на шею... Это черт знает что такое! Желал бы я знать, чем я хуже любого из этих господ, что желают над нами начальствовать? Должно быть у них богатые родственники есть, вот что!

Он с негодуящим видом оглянулся на капитанскую палатку.

— Кабы дали нам настоящих английских офицеров...

— Эх! — молвил наиболее крупный из товарищей, на красивом лице которого выражалось чисто-детское простосердечие и доброта, невзирая на массивные формы, — все дело в том, что вы недостаточно родовиты и знатны, больше ничего. Этот, например, того и гляди, будет произведен в полковники, а не то и в генералы. Я всех их величаю полковниками и генералами; оно вернее, знаете ли; все равно, не сегодня, так завтра произведут!

Это было сказано в шутку, а в такую жару и при такой скуке они рады были хоть чему-нибудь посмеяться. Третий собеседник улыбнулся, но первый оратор оставался серьезен.

— Я знаю только одно, — сказал он, — я бы хорошенько проучил этих господ, если бы кого-нибудь из моих родных оставили здесь в числе населения, которое они заранее обрекли на зарез, когда сами отправлялись в Трансвааль. Если бы мою сестру или мать здесь убили, я бы взял пистолет и прострелил бы череп самому великому заправиле, а потом покончил бы дело с его подручными. Хорошо, подумаешь, правительство здешней страны! Сами приглашают приезжать и селиться тут, а потом всех годных к сопротивлению людей выгоняют вон в воровскую экспедицию за золотом в Трансвааль, а мы тут оставайся и жди, какие бы ни угрожали нам напасти. Я считаю, что каждый человек, погибший здесь насильственной смертью, убит собственными руками Привилегированной Компании.

— Ну, Джемсон ведь человек подневольный, что ему приказывали, то и сделал. Все мы обязаны исполнять, что велят, также и он. Не он составлял план экспедиции, только он понес наказание за нее.

— А зачем он слушался? И что они толкуют, будто у нас такие отличные заведены порядки? Я шесть лет здесь живу, работаю все время, как негр, а много ли нажил барыша? Да и все мы, честно и усердно занимавшиеся сельским хозяйством, что этим выиграли? Все в здешнем краю так устроено, чтобы все выгоды доставались нескольким важным господам, живущим за морем, или здешним заправилам. Если Англия завтра вызовет отсюда

Привилегированную Компанию, что окажется? И увидит она, что все что ни есть ценного в краю, роздано в частные руки различным концессионерам; нечего сказать, будет чем поживиться после таких хозяев! Это все равно, что пустить шакалов обглодать все мясо с лошадиного трупа, а льва позватьлизать косточки.

— О, подождите еще немного, будет и на нашей улице праздник! — сказал красивый человек. — Я здесь пять лет живу, наобещали мне всякой всячины за это время, и до сих пор ничего, кроме обещаний, я не получал; однако ж надеюсь со временем получить, а потому и держу язык за зубами! Если меня попросят подписаться под бумагой, где будет заявлено, что вот этот господин (он кивнул на капитанскую палатку), никогда не напивается пьян и не умеет ругаться, я сейчас подпишусь, лишь бы знать, что после этого получу изрядное количество барыша. Взять-то я мастер, лишь бы давали! Сколько ни давай, все возьму, ни капельки не уроню!

Все рассмеялись сухим, невеселым смехом, и третий, до сих пор не проронивший ни слова, перевернулся на спину и вынул трубку из рта.

— Я вам вот что скажу, — молвил худощавый: — те из нас, у кого есть клочок земли и кто попросту честным манером занимается своим хозяйством, тому до смерти надоело это бестолковое воеванье. Будь у нас здесь с самого начала такие люди, как в свое время были Керри и Баукер, при них не могло бы случиться того, что теперь случается. Ведь дошло до того, что, приступая к тем или другим работам, никогда не можешь знать наперед, успеешь ли что-нибудь сделать или опять тебя погонят на войну и потом опять неожиданно отпустят на неопределенное время. Удобную штуку выдумали! Затеяли такую войну, которую можно продолжать и задерживать до бесконечности!

Третий из собеседников медленно и грузно повернулся опять на брюхо.

— Погоди подавать в отставку, — сказал он поучительным тоном: — небось завтра опять пойдем воевать с матабелями.

Остальные захихикали вполголоса. Даже тот, что лежал под кустом, хоть и не открывал глаз и продолжал держать руку поперек лица, слегка усмехнулся и показал желтые зубы.

— А я все жду, — сказал тяжеловесный красавец, — что предъявят нам бумагу, за подписью всех негритянских вождей, что вот, дескать, как они полюбили Компанию и как они рады, что Большой Заправило прибрал их к рукам, и как он с ними превосходно обращается, и что за это они открыли подписку на сооружение ему бронзовой статуи. Чего не сделает человек, коли уметь за него взяться.

Третий опять перевернулся на спину и, держа руку над лицом, лениво рассматривал ее.

— Как, бишь, это в Библии говорится насчет статуи, — проговорил он медленно, — у которой брюхо и бедра были медные, а ноги глиняные?

— Я в Библии не знаток, — сказал худощавый. — Пойду посмотрю, не кипит ли мой котел через край. Может быть, и у вас там пригорело?

— Нет, я просил капитанского поваренка присмотреть за моим варевом... только вряд ли он это сделает. А что, вы свой рис варите вместе с кукурузой?

— Как же быть-то, у меня нет другой посуды. Да и товарищи ничего не имеют против этого. Все-таки, знаете ли, маленькое разнообразие во вкусе!

Худощавый побрел через площадку в ту сторону, где горел его костер, другой его товарищ встал и тоже ушел присмотреть за своим котелком, а потом лег спать под телегами; дюжий колонист остался один. Шагах в пятидесяти от него его костер горел исправно; он скрестил руки, растянувшись ничком на песке, голову положил боком на руки, и лениво стал наблюдать черных муравьев, хлопотливо бегавших по красному песку перед самым его носом.

В лагере настала полная тишина. От времени до времени какая-нибудь палка с треском лопалась на огне, да цикады громко кричали в древесных стволах, и ничто не двигалось, исключая одинокого часового, который продолжал все также мерно шагать взад и вперед между фасадом капитанской палатки и приземистым деревом с двумя распростертыми ветвями. Рядовой, лежавший под кустами, храпел так громко, что слышно было в другом конце лагеря.

Полдневный зной был в полной силе.

Наконец, послышалось шуршанье, как будто кто пробирался сквозь чащу кустов и высоких трав, вырванных лишь на несколько шагов вокруг всего лагеря, и вскоре оттуда показалась фигура человека, несшего в одной руке ружье, в другой — застреленную птицу. Это был англичанин и, очевидно, недавно прибывший из Европы, судя по свежему цвету лица, заметному даже сквозь поверхностный загар. В настоящую минуту он сильно покраснелся от жары, но его ясные голубые глаза и тонкие черты не утратили своего утонченного изящества.

Подойдя к колонисту, он положил перед ним птицу.

— Больше ничего не нашел, — сказал он.

Он также растянулся во весь рост на земле, отложив ружье под висячую полу шатра. Колонист приподнял голову, не вставая, протянул руку и взял птицу.

— Я ее в котел запущу; пускай хоть какой-нибудь будет вкус, а то надоела все одна пресная кукуруза, — сказал он и, не отнимая локтей с земли, принялся ощипывать птицу.

Англичанин снял шляпу и приподнял со лба свои густые влажные, прилипшие волосы.

— Небось из сил выбились? А? — спросил колонист, взглянув на него ласково. — У меня во фляжке еще осталось несколько капель. Хотите?

— О, нет, я выношу это довольно легко! Немножко жарко, а впрочем ничего.

Он слегка откашлялся и боком прилег головой на руку. Глаза его машинально следили за тем, что колонист делал с птицей. Он уехал из

Англии в надежде избавиться от чахотки, а поступил волонтером в экспедицию против машонов, потому что таким образом надеялся что-нибудь заработать, проводя время на вольном воздухе, и в то же время ничего не стоить своим родителям.

— Что там Холькет делает? — спросил он, вдруг подняв голову.

— Разве утром вас здесь не было? — спросил колонист. — Стало быть, вы не слыхали, как они тут препирались?

— Кто? — спросил англичанин, привстав на локтях.

— Да Холькет с капитаном, — сказал колонист, перестав ошипывать птицу. — Боже мой, что тут было! Вы наверное не видывали ничего подобного.

Англичанин сел и выпрямился, зорко приглядываясь поверх кустов к Холькету, понурая голова которого то и дело мелькала взад и вперед.

— Но что же он там делает в такую жару?

— Поставлен на часах, — сказал колонист. — Я думал, что вы тут были, когда это произошло. Я во всю жизнь не видывал и не слыхивал ничего забавнее.

При одном воспоминании о событии он рассмеялся, перевалившись на один бок.

— Видите ли, в чем дело. Несколько человек наших людей пошли по ручному руслу поискать ямин с водой и нашли негра, спрятанного на берегу, в норе, не больше как в пятистах ярдах отсюда. Они напали на след этого мерзавца по узенькой тропинке, протоптанной им к воде и такой отверделой, как будто ее протоптали дикобразы. Отверстие в нору было прикрыто кустом, так что его трудно было распознать; тут и накрыли негра. Видно, что он давно тут скрывался, потому что весь пол усеян костями рыбы, которую он вылавливал из речных ямин; кроме того, у него нашли длинный кусок какого-то корня, наполовину изгрызенный. Он был ранен в бедро двумя пулями, но успел оправиться и уже мог ходить. Очевидно, он ждал, чтобы мы все убрались отсюда, чтобы потом улизнуть и пробраться к своим единоплеменникам. Вид у него был такой одурелый и жалкий, какой бывает у негров, когда они долго остаются не евши.

Ну, конечно, притащили его к капитану; тот пыхтел, ругался, объявил, что наверное этот негр шпион, и решил, что завтра утром необходимо его повесить. Он повесил бы его и сегодня, да боится, что к вечеру нагонит нас большой отряд, так рассудил, что лучше подождать, что скажет полковник. Но если отряд не подойдет к ночи, он приказал первым делом завтра поутру повесить его, либо расстрелять, всенепременно. Велел людям привязать его к тому деревцу, что стоит против его палатки, и негра привязали ремнями за ноги, вокруг пояса и еще за шею.

— Что же на это сказал чернокожий? — спросил англичанин.

— О, он-то ничего не говорил; да если бы и сказал что-нибудь, у нас в лагере ни одна душа не поняла бы, что он бормочет. Наши чернокожие не разумеют его наречия. Я полагаю, что это должен быть один из тех лютых



негодяев, которых мы разогнали в тот день, как выжигали вон те кусты. Но каким образом он мог с такой крутизны спускаться к реке, при той ране, какая была у него в бедре, этого я решительно не понимаю. Когда его схватили, он и не думал сопротивляться, должно быть уж очень испугался. А был, вероятно, порядочный силач, и такой, черт, осанистый.

Ну, вот, только-что его привязали, капитан собирался уходить в свою палатку выпить рюмочку, а мы все стояли кругом, вдруг Холькет выступает вперед, становится прямо перед капитаном и прикладывает руку к своей челке... знаете, как он обыкновенно делает? Ох, Боже мой, Господи, если бы вы видели, что это было! Кажется, вовек я этого не забуду! — И колонист был готов лопнуть от сдержанного хохота. — Ну, вот, и начал он свою речь; сначала так церемонно: «Сэр, позвольте поговорить с вами?» — точно пришел во главе депутации. А потом вдруг и пошел... Ни дать, ни взять — школьник в воскресной школе, которому задали выучить наизусть отрывок из Священного Писания, и он так и режет, и уж не останавливается, покуда не проговорит всего, от начала до конца.

— Что же он говорил? — осведомился англичанин.

— А начал он с того, что ведь мы в точности не знаем, был ли этот негр шпионом или нет; и как это было бы ужасно казнить его, не разузнав хорошенько, кто он таков; а, может быть, он только оттого и прятался, что был ранен? Потом он стал рассуждать, что ведь, в сущности, все эти негры защищают свое отечество; что и мы стали бы драться с французами, если бы французы пришли отобрать у нас Англию; и вообще, негры прекрасный народ, **с вашего позволения, сэр.** (Он каждые пять минут прикладывал руку к челке и повторял: «с вашего позволения, сэр!») И если мы обязаны с ними драться, то надо же помнить, что они отстаивают свою свободу; и как же можно расстреливать раненого пленника за то, что он чернокожий, тогда как мы бы этого не сделали, если бы он был белый! А потом уж ударился прямо в проповеднический тон! То есть отроду ничего подобного я не слыхивал! Во-первых, извольте видеть, «все люди — братья и Бог одинаково любит и чернокожих и белых; во-вторых, машоны и матабели народ бедный, невежественный, и мы должны заботиться о них». И тут вдруг брякнул, что этого негра следует отпустить с миром, дать ему провизии на дорогу, и сказать, чтобы шел к своим родным и сказал бы им, что мы не затем пришли, чтобы отнять у них землю, а затем, чтобы учить их и любить. «Я знаю, капитан, трудное это дело — полюбить негра; а только как-нибудь надо постараться!» И каждые пять минут сызнава: «Мне кажется, я знаю этого человека, капитан; я не совсем уверен, но думаю, что он с той стороны, где живут Ло-Магунди». Как будто кому-нибудь на свете может быть интересно, с которой стороны пришел какой-нибудь чернокожий черт! А Холькет повторил это раз пятнадцать, по крайней мере. И потом еще: «Я не считаю себя лучше вас капитан, или лучше кого-нибудь другого, я такой же дурной человек, как и любой в нашем лагере, и знаю это...» И ну исповедовать перед нами все свои грехи, а потом: «Капитан, я человек

темный, неученый, но я должен заступиться за этого негра, потому что кроме меня некому!» И еще сказал: «Коли вы позволите, сэр, я провожу его в Ло-Магунди, мне ничего не страшно; приду туда и скажу им, что мы пришли не отнимать у них землю и женщин, а чтобы научить их, что все мы братья и надо любить друг друга. Вы только отпустите меня, капитан, я пойду и всех примирю. Отдайте мне этого негра, сэр!»

И колонист покатился со смеху.

— Ну, и что же капитан?.. — спросил англичанин.

— Капитан-то?.. Ну, вы знаете, как он из-за всякой безделицы ругается на чем свет стоит. А тут, стоит он, как истукан, развесил руки по бокам, вылупил глаза, а лицо совсем багровое, того и гляди лопнет, и только шепчет иногда: «Господи! Господи!» А Холькет вытянулся перед ним, смотрит ему в глаза, а нас всех как будто и нет тут — никого не видит.

— Что же, однако, сделал капитан?

— Как только Холькет повернул налево кругом, капитан принялся ругаться, и так-то нанизывал словечки одно на другое, что любо-дорого. Почти так же занятно вышло, как речь самого Холькета. Наконец, перестал ругаться, очухался немного, и говорит, чтобы Холькета на весь день поставить на часы, пускай караулит этого негра и ходить взад и вперед мимо его. И если главный отряд не подойдет к нам до ночи, то завтра, чем свет, покончить негра, и чтобы застрелил его сам Холькет.

Англичанин подскочил на месте.

— Ну, а что же сказал Холькет?

— Да ничего. Взял ружье на плечо и вот целый день ходит.

Англичанин вперил свои ясные глаза на то место, где то появлялась, то вновь исчезала за кустами голова Холькета.

— А негр все там же привязан?

— Да. Капитан велел, чтобы никто не подходил к нему близко, ничего не давал ему ни есть, ни пить, только...

Тут колонист опасливо оглянулся в ту сторону, где под кустом храпел спящий рядовой, и продолжал, понизив голос до шепота:

— Часа два тому назад Холькет прислал ко мне капитанского поваренка попросить напиться воды. Я думал, что сам Холькет пить захотел, потому что бедняге, должно быть, невыносимо жарко под таким солнцем шагать столько времени, и послал ему кружку воды из собственного мешка. Потом пошел через некоторое время посмотреть, куда девалась моя кружка, и вижу, поваренок ушел, а перед капитанской палаткой, против самой двери, стоит Холькет и поит проклятого негра из моей кружки. Шея у него так крепко притянута ремнем, что он едва может глотать по капельке; и Холькет стоит и понемножку пропускает ему в рот воду. А ну, кабы капитан выглянул из палатки, да увидал, что тут делается!.. Фь... юу! Не желал бы я быть на месте Холькета.

— Как вы думаете, будет он заставлять Холькета исполнять приговор? — спросил англичанин.

— Конечно, будет! Ведь он сущий дьявол по этой части; и Холькет лучше сделает, если не станет ему перечить, иначе ему же будет хуже.

— Положим, капитан командует отрядом только до завтрашнего вечера!

— Да, но завтра утром он все еще командир. И я, на месте Холькета, не стал бы из-за этого поднимать истории. Беда здесь затевать нелады с начальством. И не все ли равно, одним негром больше или меньше? Не он, так другой его подстрелит, либо тот с голоду умрет, коли мы его тут оставим.

— Плохая забава стрелять в человека, привязанного за ноги и за шею, — молвил англичанин, и его тонко очерченные брови сдвинулись и нахмурились.

— О, знаете ли, негры ведь далеко не так чувствительны, как мы. Я видел, как один шел на казнь: в него целятся из ружей, а он преспокойно смотрит прямо в дула, и повалился как сноп! Даже не пикнул. Негры ничего не чувствуют; им, кажется, совершенно все равно, что жить, что умирать; это не то, что мы, знаете ли.

Англичанин глаз не спускал с вершины кустов, за которыми взад и вперед сновала голова Холькета.

— Не имеют права заставляя Холькета исполнять приговор, и он этого не сделает! — проговорил англичанин задумчиво.

— Надеюсь, что вы не будете так глупы, чтобы вмешаться в дело? — сказал колонист, глядя на него с любопытством. — Не стоит труда. Я решился никогда ни во что не вступаться, что бы ни случилось. Да и к чему это? Положим, что Холькета заставят-таки против воли застрелить негра, и кто-нибудь из нас подал бы жалобу на самоуправство; что же из этого выйдет? Всегда найдется человек шесть таких молодцов, которые дадут показания, угодные начальству... не говоря уже о подобных господах, — прибавил он, кивнув пальцем по направлению спящего рядового, — этих с тем и нанимают, чтобы они шпионили за остальными. Я полагаю, что он и о самом капитане докладывает в главную квартиру. Ни одной телеграммы не пошлют спроста, каждую просматривают и переделывают по-своему: передают по телеграфу только то, что угодно Компании. В нашем отряде немало прекраснейших людей; но как вы думаете, много ли найдется таких, которые откажутся от шансов сделать карьеру в области машонов, только из-за того, чтобы заступиться за Холькета... даже и в том случае, если он затеет настоящую тяжбу с Компанией? Я сам душевно расположен к Холькету, он славный малый и не раз оказывал мне дружеские услуги; прошлой ночью, например, сменил меня на часах, потому что я очень устал... И я готов со своей стороны услужить ему в пределах благоразумия. Но, признаюсь откровенно, не могу и не желаю ради его, не ради кого-либо другого, компрометировать себя в глазах властей. У меня там, в колонии, невеста есть, и вот уже пять лет как она меня дожидается. А женюсь ли я на ней или нет, — зависит от того, в какие отношения я себя поставлю с Компанией; и я прямо говорю, что не хочу с ней ссориться. Я сюда пришел деньги наживать и надеюсь, что наживу. Если кому охота биться головой об

стену — пускай бьются; но не ожидайте, чтобы и я последовал их примеру. Здесь не такая сторонка, где бы можно было говорить все, что думаешь.

Англичанин усталился локтями в землю и сказал:

— А ведь предполагается, что все это происходит под прикрытием английского флага!

— Как же, как же! — отвечал колонист со смехом, — только поперек его проведена черная полоса в знак того, что действует Привилегированная Компания.

— А бывает у вас кошмар? — внезапно спросил его англичанин.

— У меня? Да, иногда случается, — отвечал колониста, значительно поглядывая на собеседника: — когда слишком плотно наемся, тогда и бывает.

— А со мной это постоянно с тех пор, как я сюда приехал, — сказал англичанин. — Мне все кажется, что целый громадный мир навалился на меня и давит; словно весь земной шар на мне, а я под ним, вроде комара или мошки. Пытаюсь приподнять — и не могу. Так и лежу под этою тяжестью, пока она не раздавит меня окончательно.

— Удивительное дело, что именно здесь у вас бывает кошмар, — заметил колонист: — есть-то нам дают маловато.

Оба замолчали. Колонист ощипывал с птицы последние мелкие перышки, а англичанин пристально смотрел на муравьев.

— А впрочем, — сказал, наконец, колонист, — я не говорю, что капитан в этом случае поступил неправильно; Холькет выказал себя совершеннейшим ослом. Он так и не был в полном разуме, с того времени, как заплутался тогда и целую ночь провел один на холме. Когда мы отыскиали его поутру, он спал мертвым сном, так что разбудить его не было никакой возможности. Ночь была не так холодна, чтобы он мог замерзнуть; и с той поры он стал другим человеком; совсем какой-то чудак. Свою порцию съестного раздает чернокожим прислужникам, вечернюю чарку водки уступает товарищам и держится все как-то в стороне, сам по себе. Ребята думали, что он лихорадку схватил, блуждая в тот день в высокой траве. Но, по-моему, это не то, скорее, мне кажется, можно приписать его состояние тому, что он целые сутки провел один в поле. Скажите-ка, случалось ли вам проводить так день и ночь, с глазу на глаз с самим собой, в чистом поле, так, чтобы не с кем было слова сказать? Со мной это было, и я вам скажу, если бы еще денька три оставаться в таких условиях, я сошел бы с ума, либо ударился бы в религию... Особенно по ночам, знаете ли, когда над вами звезды, а кругом эта мертвая тишина. Начнешь думать, и уж думаешь, думаешь! Вспомнишь такие вещи, о которых много лет совсем не вспоминал. Я даже сам с собой начинал разговаривать, представляясь, будто со мной другой человек беседует. Семь дней я так провел; он-то, правда, всего одни сутки; однако ж, я думаю, что это одиночество его и сгубило тогда. Знаете ли, эти звезды просто ужас наводят, а тишина-то какая перед утром! — Он встал. —

Да, жалко его, такой хороший парень был... А впрочем, может быть, он еще опамätуется.

И колонист пошел к котлу, захватив и птицу с собой. Когда он ушел, англичанин лег на спину, заслонившись локтем от солнца. Высоко, высоко, сквозь жидкие древесные ветви, в чистой лазури безоблачного африканского неба, увидел он коршунов, летевших с севера на юг...

\* \* \*

Вечером люди уселись вокруг костров и стали ужинать. Большой отряд так и не приходил, но мулов привели, и приказано было сниматься с лагеря на рассвете следующего дня. Холькета сменили с караула и отпустили отдыхать. Он пришел и лег на землю, поодаль от товарищей, собравшихся вокруг их общего котла.

Колонист и англичанин оповестили всех людей своей партии, чтобы Холькета оставить в покое и ни о чем не расспрашивать; и люди, опасаясь мощной силы колониста и нервной впечатлительности англичанина, не тревожили его. Они сидели вокруг огня, болтали и пересмеивались между собой, а рослый колонист черпал из котла вареную кукурузу с рисом, раскладывал по оловянным тарелкам и раздавал всем. Наконец дошла очередь и до Холькета, который полулежал за его спиной, облокотившись на землю. Холькет взял свою порцию, некоторое время не принимался за пищу, потом проглотил несколько ложек и опять прилег на локоть.

— Что мало едите, Холькет? — ободрительно сказал ему англичанин, ласково оглянувшись на него.

— Я теперь не голоден, — сказал он.

Подождав немного, он вынул свой красный платок, тщательно опрокинул в него все, что было на тарелке, и завязал в узел. Потом положил узелок возле себя и опять прилег на локоть.

— Что ж вы не придвинетесь поближе к огню, Холькет? — сказал англичанин.

— Нет, благодарствуйте, ночь и так теплая.

Спустя некоторое время, Петр Холькет вынул из-за пояса ножичек в грубой деревянной оправе. Возле него лежал плоский камень, и он начал тихонько проводить по нем лезвием своего ножичка, поминутно пробуя на пальце, довольно ли остро он наточился. Потом снова заткнул его себе за пояс, медленно встал, захватил свой узелок и пошел к палатке.

— Порядком он намаялся за нынешний день, — сказал колонист. — Должно быть рад будет отдохнуть хорошенько.

И все сидевшие у костра начали без всякого стеснения обсуждать его дела. Будет ли капитан подтверждать свой приказ завтра утром? Исполнит ли Холькет его приказание? Имеет ли капитан право наряжать одного человека для исполнения казни, вместо того, чтобы расстреливать сообща, как обыкновенно? Один из людей сказал, что будь он на месте Холькета, он



бы с радостью сделал это; ну, с чего он вздумал дурить? Так они болтали до девяти часов, когда англичанин с колонистом встали и ушли спать. Они застали Холькета спящим; он лежал у самой стены палатки, уткнувшись лицом в холщевую переборку. И они потихоньку улеглись, стараясь не разбудить его. В десять часов весь лагерь уснул, за исключением двух караульных, которые ходили с одного конца лагеря до другого, чтобы разогнать сон, или стояли и болтали между собою у большого костра, все еще горевшего на одном конце.

В капитанской палатке всю ночь горел фонарь, свет от которого сквозил через тонкие холщевые стенки и освещал землю кругом; все остальное в лагере было темно и тихо.

В половине второго часа луна закатилась, и одни звезды сверкали в бездонном африканском небе.

Тогда Петр Холькет встал, тихо приподнял холщевую полу и выполз вон из палатки. Доползя до конца лагеря, он встал на ноги. На руке у него был привязан красный узелок с едой. С минуту он смотрел вверх, на расположение звезд, потом вошел в высокую траву и пустился в путь, прочь от лагеря. Но вскоре он воротился и спустился вниз, в речное русло. Некоторое время он шел вдоль русла; потом сел на берег, снял свои тяжелые сапоги, бросил их в траву и тихо-тихо, на цыпочках, направился по узкой тропинке, протоптанной людьми, ходившими к реке за водой. Она вела прямо к капитанской палатке и к плосковерхому дереву с белым стволом и с двумя шишковатыми ветками, распростертыми врозь. Шагов за сорок от этого места он остановился. Далеко впереди, на другом конце лагеря, двое часовых, стоя у костра, разговаривали между собою. Остальной лагерь был погружен в мертвую тишину. Свет, струившийся из капитанской палатки, достаточно освещал ствол деревца и то, что там было; но внутри палатки все было тихо.

С минуту Петр Холькет постоял неподвижно, потом пошел к дереву. Негр был так плотно привязан к стволу, что составлял с ним как бы одно целое. Руки его были прикручены к бокам, а голова свесилась вниз, глаза были закрыты, все члены, прежде изобличавшие силу мощного человека, теперь осунулись, так что кости выступали на сочленениях. Густые шерстяные волосы его были включены и торчали длинными комками; черная кожа потрескалась и загрубела от лишений и долгого пребывания на воздухе. Ремни врезались в его щиколотки, слегка разорвав кожу: из ранок сочилась кровь и образовала темную лужицу под его ногами.

Петр Холькет посмотрел на него: негр казался умершим. Он тихо потрогал его за руку, потом слегка потряс.

Медленно и не поднимая головы, негр открыл глаза и взглянул на Петра из-под усталых бровей. Если бы не движете век, можно бы подумать, что это глаза умершего существа.

Петр поднес палец к своим губам и тихо произнес:

— Тсс-с!..

Негр висел на ремнях, безжизненно глядя на Петра.

Петр Холькет проворно опустился на колени и вытащил из-за пояса свой ножик. Вмиг он перерезал ремни, которыми связаны были ноги, потом и те, что были вокруг пояса и вокруг шеи. Ремни упали на землю, и негр стоял совсем вольно. Ошеломленный, безмолвный, стоял он, понутив голову, и глядел на Петра исподлобья.

В ту же минуту Петр снял с своей руки красный узелок и сунул его в безучастную руку негра.

— Ари-цемайя! Хамба! Луп! Беги! — шептал ему Петр Холькет, выдергивая по одному словечку из каждого из слышанных им африканских наречий.

Но чернокожий пленник стоял все также неподвижно, глядя на него тусклыми глазами.

— Хамба! Сук-ка! Беги! — шептал Петр, махая ему рукой.

Вдруг по лицу негра молнией пробежала искра сознания; затем оно изобразило дикий восторг. Без слов, без единого звука прыгнул он как тигр, преследуемый охотничьими собаками, точно никогда не был ни ранен, ни измучен, и, шмыгнув чрез кусты, исчез в траве. Она сомкнулась за ним, но сухие ветки и листья хрустнули под его ногами.

Капитан распахнул дверь своей палатки и закричал:

— Кто там?

Петр Холькет стоял под деревом, с ножичком в руке.

По всему лагерю поднялась суматоха: караульные прибежали бегом, стали палить из ружей; заспанные люди вскакивали, хватались за оружие и бросались вон из палаток. Под плосковерхим деревом раздался выстрел, и со всех сторон послышался крик:

— Это машоны пришли выручать шпиона!

Когда люди сбегались к капитанской палатке, они увидали, что негр исчез, а Петр Холькет лежал ничком под деревом, головой к капитанской палатке.

Все заговорили разом и произошла невообразимая путаница.

— Сколько их было? — Куда они пошли? — Петра Холькета убили! — Сам капитан видел, как они в него стреляли! — Готовься, ребята! Они сейчас могут назад прийти!

Когда подошел англичанин, остальные, зная, что он занимался медициной, расступились и дали ему дорогу. Он встал на колени возле Петра Холькета.

— Он умер! — сказал он спокойно.

Когда перевернули тело, колонист опустился на колени по другую сторону; он принес с собой ручной фонарь.

— Чего вы топчетесь тут, дурачье! — крикнул капитан. — Какой толк проверять следы после того, как все тут побывали? Марш по местам, караульте лагерь со всех сторон! — Я сейчас пошлю четырех чернокожих

парней, — сказал капитан, обращаясь к англичанину и колонисту: — прикажу им вырыть могилу. Лучше похоронить его сейчас же. И чего ждать-то? Поутру надо выступать до свету!

Оставшись одни, англичанин и колонист расстегнул платье на груди Петра Холькета. Там была одна маленькая круглая ранка как раз под левою грудью; другая рана оказалась на темени, но эта была нанесена, очевидно, после того, как он упал.

— Странно, не правда ли?.. И что он мог тут делать? — сказал колонист. — И рана совсем маленькая, не так ли?

— Пистолетная пуля, — сказал англичанин, прикрыв грудь покойника.

— Пи-сто-летная?

Англичанин зорко взглянул на собеседника, и глаза его блеснули.

— Я же вам говорил, что он этого негра не убьет. Посмотрите... вот...

Он поднял ножик, выпавший из руки Петра Холькета и примерил его к кускам разрезанного ремня, валявшимся на земле.

— Как, вы думаете, что это он?.. — сказал колонист, вытаращив на него глаза и потом мельком оглянувшись на капитанскую палатку.

— Да, я это думаю... Сходите-ка, принесите шинель Холькета; завернем его в нее... Если уж, покуда был жив, нечего было толковать об этом, то теперь и подавно, когда мертвый лежит.

Принесли шинель и стали выворачивать карманы, чтобы посмотреть, нет ли там указаний на то, откуда он был родом и кто его родные. Но в карманах ничего такого не было, и оказалась только пустая фляжка, кожаный кошелек с двумя шиллингами да шерстяная двухконечная шапочка домашнего вязанья. Завернули они Петра Холькета в шинель, а шапочку надели ему на голову. И через час после того как Петр Холькет стоял перед палаткой, глядя вверх на звезды, он уже лежал в земле под плосковерхим деревом и над ним утапывали красный песок, напоенный смешанною кровью чернокожего и белого человека.

\* \* \*

Остальную ночь люди провели вокруг костров, обсуждая случившееся и опасаясь нападения. Но англичанин и колонист преспокойно ушли в палатку и улеглись.

— Как вы думаете, будет наряжено следствие, или нет? — спросил колонист.

— Какое там следствие! Завтра к вечеру его и так уберут.

— А вы намерены разглашать об этом?

— К чему же теперь?

Около часа они лежали в темноте, прислушиваясь к доносившемуся до них оживленному говору товарищей.

— Верите вы в Бога? — сказал вдруг англичанин.

Колонист даже вздрогнул от неожиданности.

— Конечно, верю! — отвечал он.

— И я прежде верил, — сказал англичанин, — только не в вашего Бога. Я верил в нечто столь великое, чего я постигнуть не в состоянии, и что заправляет миром, как моя душа управляет моим телом. И я думал, что оно действует на таком же основании, на каком причина и следствие действуют в физическом мире, и что это основание также приложимо и к миру духовному; одним словом, я думал, что всем заправляет то, что мы в просторечии зовем законом равновесия, или справедливостью. Ну в это я больше не верю. Нет Бога в земле машинов!

— Ох, пожалуйста, не говорите таких вещей! — воскликнул колонист, сильно расстроенный. — Я боюсь, как бы и вы не рехнулись, как бедняга Холькет!

— Нет, этого не случится. А только Бога нет, — сказал англичанин; повернулся на бок и замолчал. После этого колонист уснул.

\* \* \*

На утро, еще до свету, люди собрали свои пожитки и выступили в путь. К пяти часам выехали и телеги с провиантом; впереди их и сзади, кто пешком, кто верхом, двигались люди. Все пространство, где был расположен лагерь, образовало опустевший круг; там только и осталось несколько разбитых бутылок, пустые жестянки да закопченные камни, на которых разводили огонь, и все еще видны были кучки теплой золы.

Только под плосковерхим деревом возились колонист и англичанин: они наваливали в кучу камни. Их оседланные лошади стояли рядом. Тут подскочил к ним дюжий рядовой, накануне лежавший под кустами во время их беседы. Капитан послал его обратно на место лагерной стоянки спросить, что они там делают, зачем попусту теряют время и приказать, чтобы скорее ехали вперед. Оба сели на лошадей и последовали за рядовым. Но англичанин все обертывался на седле и смотрел назад.

Утреннее солнце начинало золотить верхушки высоких деревьев, осенявших лагерь; лучи его осветили и низкое дерево с белым стволом и двумя распростертыми, наподобие рук, ветвями и кучу камней, наваленных у его подножия.

— А все оттого, что провел тогда ночь на холме! — печально проговорил колонист.

Но англичанин еще раз оглянулся назад.

— Не знаю, право, — сказал он, — теперь его доля, пожалуй, лучше нашей!

И они поскакали вслед за своим отрядом.

К О Н Е Ц



Оливия Шрейнер. **“Рядовой Пётр Холькет”**

**Источники текстов:**

О.Шрейнер. **“Рядовой Пётр Холькет”**. Пер. с англ. Е.Г.Бекетовой. М., "Посредник", 1900.

Давидсон А., Филатова И. **“Южноафриканская писательница в России”** // «Россия и Южная Африка: три века связей». М., ВШЭ, 2010.

Давидсон А. Б. **“Оливия Шрейнер и ее книги”** // Шрейнер О. «Избранное». М., "Художественная литература", 1974.

Редактор: Адаменко В.В.  
Эл. адрес: [adamenko77@gmail.com](mailto:adamenko77@gmail.com)

Макет создан: 21.07.14  
Сдан в печать:

Тир. 999 экз.